

Перевод с французского - Б. Скуратов, К. Голубович

Общая редакция перевода - О. Никифоров

Научный консультант - А. Тарасов

Бадью А.

МЕТА/ПОЛИТИКА: МОЖНО ЛИ МЫСЛИТЬ ПОЛИТИКУ?

Краткий трактат по метаполитике. Пер. с фр. Б. Скуратов, К. Голубович. М.: Издательство "Логос". 2005. - 240 с.

В своем анализе возможностей делать-мыслить *политику* сегодня Ален Бадью отталкивается от факта разложения марксизма, интерпретируя его как следствие увязания мысли Маркса (поглощенного показом вторжения реального в реальность *политического*) во внутривнутриполитических условностях, - и предпринимает попытку новоустановления марксизма как мысли, центрированной на истолковании того, что дает событию свершиться, на основании чего угнетенные оказывались бы способны утвердить свое собственное существование.

Первопроходцами в обосновании этого измерения политики выступают Паскаль, Руссо, Малларме и Лакан.

МОЖНО ЛИ МЫСЛИТЬ ПОЛИТИКУ?

- 7 -

КРАТКИЙ ТРАКТАТ ПО МЕТАПОЛИТИКЕ

-93-

Примечания и Комментарии

-231-

МОЖНО ЛИ МЫСЛИТЬ ПОЛИТИКУ?

Предисловие	...9
1. ДЕСТРУКЦИЯ	
I. Об исторической референции	...21
II. Солженицын и Шаламов	...26
III. Конец побед	... 3 4
IV. Универсальное значение польского рабочего движения	...36
V. Реактивное значение современного антимарксизма	... 3 9
VI. Разрушающая субъективация и делокализация	...42
VII. Фигура нового начала	...46
VIII. Воз-вращение истоков	...49
2. РЕКОМПОЗИЦИЯ	
I. Событие. Эмпирический путь	...53
II. Дефиниции и аксиомы	...60
III. Опровержение идеализма	...63
IV. Генеалогия диалектики	...66
V. Формализмы, 1 //Запрещенное/Невозможное	...72
VI. Формализмы, 2 // Различающее вмешательство и вмешательство "на пари"	...77
VII. Вмешательство и организация. Политика. Будущее в прошедшем	... 83
VIII. Что такое догматизм?	...88
IX. Отказ-от-возвышения	...90

Предисловие

В моей стране, которая - по крайней мере с 1789 г. - была местом политики *par excellence*, в той Франции, где сама непримиримость споров свидетельствовала о том, что все их темы предписаны политически, сегодня случилось так, что политика вступила в эпоху явленности своего отсутствия.

Даже когда о ней упоминают в связи с тем, что происходит, - с выборами, заседаниями парламента, борьбой профсоюзов, деятельностью президента, телевизионными декларациями, помпезными поездками, - каждый знает, причем таким знанием, которое не передашь на словах, что речь идет о заброшенном поле деятельности, где, разумеется, производятся какие-то знаки, но однообразие этих знаков таково, что связать себя с ними способен лишь некий автоматический субъект, очищенный от желаний, как от хлама.

Основополагающие категории, в которых обозначался выбор левых и правых: рабочее движение и интересы собственников, национализм и интернационализм, капитализм и социализм, социализм и коммунизм, свобода и авторитаризм - малопомалу перестали работать и теперь указывают, скорее, на отставание профессионалов от жизни и беспомощность деятелей.

Разумеется, растет число хаотически происходящих микрособытий. Однако же они замыкаются и заражаются общей вялостью, укрепляющей в нас убеждение участвовать в представительстве без субъективных ставок.

Чрезвычайно отдалившись от своего национального существования, Франция вошла в политическую эпоху господства скептицизма.

Эту фигуру, которую - по Хайдеггеру - можно назвать исто-

рическим и национальным свершением отступления политического, я не считаю бесплодной. По-моему, она не настраивает ни на боязнь, ни на отказ. Я бы, скорее, сказал, что она призывает философов к определению некой сущности.

¹ Когда все опосредования политики ясны, императив философа состоит в их категоризации на некоем подведенном под них основании. Последний спор в этой области противопоставил приверженцев свободы как обосновывающей рефлексивной прозрачности, с одной стороны, и сторонников структуры как предписания режима причинности, с другой. Сартр и Альтюссер - это, по сути, Причина против причины.

Но в том случае, когда мы хотим убедиться в процессе свершения отсутствия, мы уже ориентируемся на исчезающее, и на повестке дня оказывается не обоснование, а, скорее, способность к эссенциализации в самом месте исчезновения. Всякая мысль об обосновании отсылает к опыту того, обоснование чего имеет место. Если же философия располагается поблизости от пустого места, откуда отступает политическое, то она становится хранилищем уже не обоснования политического, но аксиом его отступления. Ибо если политическое отступает, то отступает оно от режима бытия тем, что может иметь место отдельно ото всего, само по себе, - так что впредь не возникает и вопроса об опыте политического. В этом случае философия означает *отсутствие такого опыта*, а именно *отступления*, отхода в дело-кализо ванное прибежище управления; как рассеяние в самом > "имении места" того, что теперь сохраняется без концепта. При таком видении вещей философия располагается по отношению ; к политическому в разрыве - который и есть отступление - между рискованной полнотой проживаемого на личном опыте события, удачливостью капитана или революционного вождя, с одной стороны, и блуждающим автоматизмом капитала, достигшего при "модернизации" вершины могущества, когда ничто политическое уже не дается в опыте и когда можно полностью сэкономить на гипотезах о каком бы то ни было политическом субъекте, с другой. Мысль о сущности политического как отступании скользит в этом разрыве - едва заметном, но

ответственном за несчастья нашего времени, между удачей, счастливым случаем, фортуной и повторением: между $TD^{\wedge}TLJ$ $a^{\wedge}iojotov$

На самом деле, та ситуация, когда политическое не является ни концептом опыта, ни субъективной нормой правления, складывается гораздо раньше. Мысль должна здесь ориентироваться на это "раньше". Она должна быть современной тому, окончательный результат чего - заявление об отступании, именуемое в философии нехватку политического опыта.

Вполне корректным было бы сказать, что *политическое* пребывает в отступании и отсутствии, и уже отсюда задаваться вопросами о его сущности. Но здесь важно еще и освобождение *политики*, чья мобильность, вписанная в мысль от Макиавелли до Ленина, прежде оказывалась философски подчинена этой вновь восстанавливаемой сущности политического.

Философская операция - в своей предварительной и критической функции - ориентируется на разрушение политической философии, в которой забывается, что реальное, которое атакует *политика*, всегда является не более чем фигурой без событийной сущности.

Политическое всегда являлось лишь фикцией, которую *политика* пробивает событием. То каноническое (от Руссо до Мао) высказывание, что *массы делают историю*, обозначает в массовой среде как раз это исчезающее вторжение, по отношению к которому политическая философия представляет собой не более чем запоздалый и всегда противоречивый пересказ.

То, что прибегает к спасительному отступлению вместе с политическим, наряду с нарративной и линейной фигурой романа, - это также и фикция меры, та идея, что социальная связь мысленно измеряется по философской норме "хорошего государства" или "хорошей революции" - что в точности одно и то же. И весьма сомнительно, что этот объект (будь то Государство или Революция), фиктивно вызываемый при подведении основания под политическую философию, может сегодня пригласить на то, чтобы служить понятием политического опыта.

Во Франции революционная идея, существующая здесь уже

два столетия, иногда даже в виде своего полного отрицания, установила, что всегда имеется некий политический субъект, а также создала - наперекор своей зачастую гнусной истории: расправам над рабочими в XIX в., священному союзу 1914 г.², Мюнхенскому сговору и Петэну, колониальным войнам и периоду сумрачного упадка³ - открытую возможность для той мысли, что посредством политического в мире циркулирует некая общепризнанная универсальность, в силу чего французские интеллектуалы, совместно с рабочим движением, располагают свободным пространством для вмешательства, для гражданской роли, несводимой к тому безразличию к реальному положению дел, что стало судьбой интеллектуала во всех других странах Запада.

Однако в представлении как революционной идеи, так и идеи контрреволюционной, которой заявила о себе "глубинная Франция", всегда наличествовала изрядная доля иллюзии в отношении социальной связи, поскольку предполагалось, что политика обретала свою гарантию в прочности этой связи, назовем мы ее связью *пролетариата, народа*, или, наоборот, союзом *всех французов*. Мысль о политическом, понимаемом как основание для опыта, всякий раз предлагала некую генеалогию представительства (революционного или национального), исходящего из социальных единств.

Кризис политического выявил, что все единства являются неустойчивыми, что нет ни французов, ни пролетариата, и что в этой связи фигура представительства, как и ее противоположность, фигура спонтанности, сами являются неустойчивыми - ведь попросту отсутствует время на предъявление этих фигур. В результате получил распространение тезис о некоей *сущности внутригосударственных отношений* - сущности, представляемой в реализации суверенитета, даже если это диктатура рабов; и отношений - даже если это отношения гражданской войны в рамках классовой структуры.

Преимущество этой обратной связи - когда обнаруженная бессодержательность того, что казалось устойчивым, приводит к кризису само определение сущности политического - в том,

что эта связь придает силу другим генеалогиям, другим отсылкам. Лишь сегодня можно узнать, что Малларме - как раз после **Парижской** Коммуны, что неслучайно - стал одним из наших великих политических мыслителей, равным, например, Руссо.

Ведь это Малларме писал, что "социальная связь и ее временная мера - независимо от того, сжимать ее или расширять в целях управления - представляет собой фикцию".

Фикцией является здесь именно сплав социальной связи и ее меры, сплав, на котором зиждется политическая философия.

Нужно понимать, что политическая экономия и общественные связи предоставляли строго определенное место этому сплаву, по поводу которого старый марксизм заблуждался и из-за которого марксистское учение в политике оказалось искаженным и перевернутым. Например, хорошо известно, что так называемая марксистская политэкономия не сумела раскритиковать критику самой себя. Она оказалась превращением в философскую фикцию того совершенно прямого указания, которое можно найти как у Маркса, так и у Ленина: чюдешу.дое политики - это то, встреча с чем всегда случайна и рискованна. Экономика, критика которой должна была выткать из себя то, что абсолютно превосходит ее в некоей сингулярной точке, стала ловушкой, застряв в которой, марксистская политика - это интерпретативное схватывание неустойчивости рабочего сознания, направленное на высвобождение в уязвимом расколе и проявление некой прежде неопознававшейся политической способности - оказалась погребенной среди разновидностей частной доктрины политического.

То, что должно было стать стратегией события, гипотезой об истериях социального, органом интерпретации-разрыва, вызовом фортуны, оказалось в конечном итоге - окольным экономическим путем - представлено как нечто наделяющее общественные отношения приемлемой мерой. Таким образом, марксизм был Гразрушен собственной историей, которая стала историей его ¹ фикции-фиксации (fixion) на политической философии. •'

, Г То, что *политическое* представляет собой фикцию-вымысел] (fiction), не может оправдать его. Политическое невозможно

оправдать даже его истинностью — если верно, как утверждает Лакан, что вымысел, представляет себя именно как структуру истинности. Истина политического, как она включена в политику, провозглашалась именно в фикции экономии, именуемой политической. Маркс объявил ее критику, воцарилось же, однако, ее безраздельное господство. Как бы там ни было, упомянутое провозглашение идет в ущерб тому, что превращает политику в истину, - нехваткой и избыточностью чего надо вновь овладеть.

Малларме поставил диагноз этой малой толике невинного вымысла. "Большой вред, - писал он, - из века в век приносился содружеству земных жителей, когда им указывали на жестокий мираж, на государство, его правительства и законы иначе, чем на эмблемы; или, как в нашем случае, когда рассказывали, что некрополи пребывают в раю, который сами их из себя испаряют".

Фикция-вымысел политического есть похоронный вымысел, тем более, что он вызывает настоящее испарение политики. В свбей сердцевине этот вымысел представляет собой вымысел о сосредоточивании, связи, отношении. В этом вымысле выражается суверенитет над сообществом. Политическое обозначается философски как концепт образующей сообщество связи и представительства этой связи в некоем органе власти. Теория эта, очевидно, может варьироваться, в зависимости от того, ставится ли акцент на генеалогии связи, на ее договорном самообосновании или же на ее естественной филиации; либо же наоборот, акцент делается на суверенитете и его представительской или органической способности гарантировать закон тотальности. И всегда трудность политической философии заключается в обнаружении того, что не существует никакого перехода между сущностью образующих сообщество социальных 'уз и их суверенным представительством. *Политическое* блуждает между гражданским обществом и государством. Всевозможные концепты предлагаются в качестве метафор этой разнесенности - равно безуспешно! Разницы меж ними нет никакой, пока неколебимым остается сам принцип приписывания политическому мышлению о связи, образующей сообщество: в

этом приписывании уже началась работа вымысла. А превратить разрушение социальной связи непрозрачностью аксиом капитала в место отступления политического означает лишь увековечить концептуальную юрисдикцию связи. И точно так же несколько не поможет нашему выходу из вымысла, если мы оснастим это угрожаемое или разрушенное место вульгарно-демократическим понятием об уважении к различиям. Критика молярного концепта политического невозможна на молекулярном уровне. Какими бы ни были конкретные пункты этой критики, их политическое определение через мысль об отношениях - будь они хоть отношениями различия - вряд ли выведет нас к реальности политического. Кто удовольствуется различием, коммуитарной гарантией которого является уважение? Разве не чувствуется нечто гнусное в этом размещении различного по своим местам; в этой мысли, умиротворенной законом о хороших отношениях, о различии как диалоге? Лучше уж непризнание, чем такое признание...

На развалинах мышления о политическом сегодня поднимают шумиху о демократии и о битве против тоталитаризма, которую надо вести ради демократии. Однако что такое демократия *как концепт*? Что она такое - помимо эмпирического ассортимента разновидностей парламентской деятельности? Можно ли представить себе, что мировой кризис политической мысли разрешается высказыванием той пошлости, что капиталистические режимы Запада оказываются более гибкими и способными к консенсусу, чем (столь же капиталистические) режимы Востока? Сколь бы драгоценной ни была демократическая идея, в таком понимании она ничтожна по отношению к исторической мере политического кризиса. Ее эмпирическое господство, скорее, является одним из симптомов обширности и глубины этого кризиса. Ведь это ее преобладание, ссылаясь на практики, присущие плюралистическим режимам (представительным демократиям), как раз и маскирует, что в состоянии исчезновения находится то, чему приписывается этот плюрализм, - ведь все единства во всем их множестве являются неустойчивыми, а представительство не работает, потому что уже

даже некого представлять.

Демократия, разумеется, представляет собой концепт политического, она близко соприкасается с реальным политикой. Но демократия - в обычном смысле слова - всегда была лишь одной из форм Государства. В этом отношении - как концепт демократия внутренне, относится к фиктивности, вымышленности политического и образует пару с тоталитаризмом как раз на той территории, где последний обозначает себя в качестве апогея политического.

Ибо неоспоримо, что в самой сердцевине столетия - в его советской парадигме - именно *политическое* разворачивалось как универсальное притязание Государства. Парламентские же демократии, современные этому событию, ошибочно полагали, будто они находятся за пределами той сферы, где из-за краха этого притязания распространяется катастрофа мышления. На самом деле, именно оппозиция демократия/тоталитаризм, а не один лишь тоталитаризм, образует диалектическую сущность того, что на наших глазах входит в ночь не-мысли и предписывает нам совершить новый жест основания. Демократия и тоталитаризм - две эпохальные версии завершения политического в двойной категории *связи и представительства*. Наша же задача касается политики в той мере, в какой политика упорядочивает вокруг *непредставимого* случаи *не-связанности*.

Первая задача - чтобы зафиксировать *политическое* в фикции-вымысле и сориентироваться на *политику* - заключается в избавлении политики от предписания, диктуемого связью. Необходимо практически и теоретически осуществить де-фиксацию (de-fiction) политики как образующей сообщество связи или отношений. Следует возвести в аксиому, что предоставляемая политикой мобильность зависит от того, что политика соприкасается с реальным в режиме разрыва, а не в режиме собирания. А также - что политика является активной интерпретирующей мыслью, а не принятием какой-то власти.

Это то, в чем политика являет себя следствием действий субъекта, наталкивающегося на реальное как на препятствие, и раздробленного фикцией смысла.

Следовательно, дело выглядит так, что для того, чтобы привести политику к событию, ее надо избавить от тирании истории. Необходимо отважиться на утверждение, что с точки зрения политики, (истории как смысла) существует, но существует лишь периодическое выпадение *априори* случая.

Теория хорошего Государства, легитимного режима, добра и зла в коммуитарном порядке, демократии и диктатуры касается политики лишь окольным путем политического, т. е. при неизбежном производстве фиктивной философии. Политика же представляет собой мобильное осуществление некоей гипотезы. Этот процесс относится не к порядку легитимации, но к порядку последствий. Альтернатива деспотизма и свободы для процесса политики столь же несущественна, сколь и для процессов научных или художественных. А вот последствие, в свою очередь, высказывает себя не иначе как в неverified испытании события.

Какое бы верование, обосновавшееся на месте политического, ее ни сопровождало, политика не может создать экономику отваги, определяемую, в противоположность страху и беспokoйству, как рывок в сторону неразрешимого (indecidable). Какими бы ни были внешние гарантии политического решения, извлекаемые из фикции его истинности, чтобы решать, оно возвращается к точке неразрешимости. Это не исключает, а как раз требует значительной доли расчета.

Наконец, мы скажем, что политика, в противоположность политическому, являющемуся размеренной мыслью о социальном и его представительстве, не прикована к социальному, но совсем наоборот, составляет исключение из него.

Значимые для марксистской политики факты, не относятся к порядку массивности и связи; эти факты не структурны. Скорее уж речь в ней идет о неизменных симптомах, о случайно обнаруживаемых формах сознания, о перемежающихся событиях. В отношении всего этого активная мысль вооружается своей неустойчивой гипотезой. Социальное служит именованием места связанности. Мышление о социальном организуется, исходя из мышления о социальных отношениях, об эксплуатации и угне-

тении. Но отношения касаются политики не иначе, как фиксируя ее. Истина политической мобильности не в социальном отношении. Важным является лишь то, что удостоверяет бес-связность (de-garport), скольжение. К тому же, зримость бес-связности поддерживается концептуальным сжатием самой связи.

Хотя веяния времени вряд ли к этому подталкивают, здесь необходимо упомянуть Маркса, поскольку Маркс, в свою очередь, упоминает о превращении прежней политики в фикцию. Не буду входить в детали, выясняя, были ли Макиавелли или Спиноза в этом отношении предшественниками Маркса.

Здесь Маркс, безусловно, исходит не из архитектуры социального - которая затем понадобится ему, чтобы задним числом обеспечить себе уверенность и гарантии, - но из интерпретации-разрыва, касающейся симптома истерии социального: партий и рабочих бунтов. Маркс ставит перед собой цель выслушивать эти симптомы в режиме истинностной гипотезы, касающейся политики, - подобно тому, как Фрейд будет выслушивать истериков в режиме гипотезы, касающейся истины субъекта. Чтобы тем самым был воспринят - не оказавшись пригвожденным к фикции политического - симптом, характеризующий социальное, необходимо, чтобы политическая способность пролетариата - как радикальная истинностная гипотеза и как превращение в фикцию всякого предшествовавшего Политического - была избавлена от коммунитарного и социального подходов. Эта гипотеза касается истины не иначе, как отбрасывая все социальные факты: метод, применения которого требовал уже Руссо. Необходимо, чтобы политика мыслилась как избыток по отношению и к государству, и к гражданскому обществу. Политическая способность пролетариев, называемая коммунистической, - абсолютно мобильна, не этакична, не-фиксируема (in-fixable). Ее нельзя ни представлять, ни выводить исходя из порядка или строя, за не способных ее вместить.

То, что Маркс указал, что политику характеризует непредставимость, так как она формирует субъект в перцептивном режиме симптома, превращает Маркса в мыслителя политики,

избавленного от политического, фиктивность которого он фиксирует. Маркс опирается не на норму, но на некое "имеется" **события**, "где оно пересекает реальное, в тупике всякого постижимого и представимого порядка. Истина политики располагается в точке этого "имеется", а не в своей связи.

Последующие разработки [теории Маркса] сжимают связь социальных отношений, чтобы упорядочить ею пространство политики, как точечное вне-место (hors-lieu) этого места.

Таково краткое изложение начального периода марксизма.

Однако в соразмерении с этим началом и с точки зрения политики, событие, современниками которого являемся мы, - это кризис марксизма:

Даже если в этом не признаются - все, кто мыслит сегодня в стихии смерти марксизма, прекрасно видят, что она, эта смерть, которую они провозглашают или даже забыли провозглашать, является внешним знаком гораздо более глубокого и радикального феномена: ^ризиса политики в целом.

Устремление, которым направляется этот текст, диктуется волей не превращать этот знак в знак пустоты; волей удерживать эту приметку на высоте ее радикальности, не быть низвергнутыми с места, где этот знак определяет нас, до уровня вхождения в не-мысль, до уровня довольствования управлением текущими тактиками.

На карту здесь поставлены ни больше, ни меньше, как возможность для философии способствовать сохранению политики в порядке мыслимого, а также спасение той фигуры бытия, **Что** присутствует в политике, - спасение от автоматизмов безразличия. j

Устремление моего текста состоит в том, чтобы, не смиряясь с простой регистрацией беспомощности, предложить свой собственный способ деструкции марксизма и, предохранив его от вырождения, перейти таким образом к аксиомам переустройства политики.

Август 1984 г.

1. ДЕСТРУКЦИЯ

О кризисе марксизма сегодня следует сказать, что он является *свершившимся* (complete). И это не просто какая-то эмпирическая характеристика. Сущность этого кризиса как кризиса состоит в том, что он развивается до своих окончательных последствий, что для марксизма означает вхождение в фигуру его завершения. И происходит это не в виде обетованного завершения вместе с ним некоей предыстории, но, наоборот, в сугубо исторической модальности завершенности, которая превращает марксизм в просто-напросто отжившую идеологическую и практическую данность.

I. Об исторической референции

Чтобы помыслить полноту свершения упомянутого кризиса, надо вернуться к тому, что составляло уникальную силу марксизма и что основано на несомненности - сегодня устаревшей - его исторических референций. То, что некоторым образом утверждало марксизм в роли универсальной мысли о революционной деятельности, не было, как правило, ни его способностью к исследованию, ни аналитической мощью, ни освоением великого повествования Истории, гарантией которого он выступал. Дело даже не в том, что он допускал или предписывал в сфере политической ангажированности. Нет, уникальность марксизма среди всевозможных революционных учений, вышедших из XIX столетия, заключалась в его исторически засвиде-

тельствованном праве подводить черту под Историей. Марксизм, и только он один, предъявил себя как политико-революционное учение, если и не подтвержденное исторически (что несколько иное дело), то, по меньшей мере, исторически активное. Почти столетия марксизм пользовался существенным кредитом исторического доверия. Этот кредит фактически служил той гарантией, что марксистская политика остается соразмерной своей основополагающей мобильности и составляет исключение из политического вообще, понимаемого как чисто умозрительное и всегда оказывающееся уже устаревшим положением дел.

Марксизм привязывает это историческое доверие к трем основным референтам, хотя и легко заметным, но из-за трудностей внутренней артикуляции впервые четко выявленным именно в работах Поля Сандевенса¹:

- 1) Существование ряда государств, выступающих в эмблематической функции осуществленных - а не только запланированных - революционных преобразований. Эти государства притязали на осуществление социализма в действии, материализовали этап перехода к коммунизму, воплощали диктатуру пролетариата.

Возникает соблазн назвать эту важнейшую референцию *государственной референцией*. Марксизм был единственным революционным учением, которому выпало воплотиться в государственной доктрине. Посредством государственной доктрины возникло активно действовавшее подобие слияния отдельной точки и общей связи. Идея господства не-господства... С субъективной точки зрения, здесь важно видеть то, что я назову *победоносной референцией*.

Марксизм существовал как то, посредством чего угнетенные, рабочие и крестьяне, взяв в руки оружие и организовавшись, впервые в истории сумели действительно победить противника, сломали и разрушили военную и государственную машину, которую обслуживали поборники старого угнетения.

Эта идея победы сыграла решающую роль в деле сплочения

рабочих, простого народа и интеллектуалов под знаменем марксизма- Октябрьская революция стала грандиозным образом **низвержения** принципа силы в истории. Ленинизм есть, прежде всего, победоносный марксизм.

В этом отношении социалистические страны подводили длинную черту под историей, как, например, СССР, по меньшей мере с 1917 по 1956 г. Затем Китай - точно вторая молодость, приходящая после того, как отцвела первая, - между 1960 и 1976 г. На протяжении почти шестидесяти лет эти государства воплощали победоносную субъективность. И именно это воплощение воздействовало на историю больше, нежели любое реальное государственное производство, даже принимая в расчет все иллюзии и ложные представления, что изобиловали по этому поводу.

Первый референт есть не что иное, как такое *историческое скандирование*, которое собирает политический субъект вокруг темы победы.

- 2) Второй референт образуют *войны за национальное освобождение*. Речь идет об изобретении - под руководством современных партий - новой формы войны, войны асимметричной, укорененной в сельской местности, организующей крестьянство и развертывающейся чрезвычайно долго и поэтапно. Примерами здесь служат Китай и Вьетнам. Разумеется, речь все еще идет о победе: на ленинское "восстание есть искусство" отвечает максима Мао "народная война непобедима". Но в еще большей степени речь здесь идет о слиянии принципов национального и народного. Война за национальное освобождение постулирует, что единое движение настраивает нацию против империализма и освобождает народ от полуфеодального принуждения. При марксистской гегемонии, заручившись гарантией Партии как народной организации и стратегического генерального штаба, осуществляется активное единство народа и нации. Тема победы здесь опять-таки присутствует, но отныне она прилагается и к национально-освободительной войне, и к вой-

не гражданской. Победа приводит к образованию нации, подобно тому, как раньше она приводила к диктатуре класса. Эти примеры, связанные с китайским референтом, вызвали в среде молодежи 60-х гг. вторую волну объединения вокруг марксизма, временный - и неизбежно краткий - этап потрясений, вызванных взрывом Октября 1917 г.

- 3) Наконец, третий референт здесь - само *рабочее движение*, на сей раз и в метрополиях Запада, особенно в Западной Европе. Именно в обобщенном элементе марксистской референции это движение показало свое политическое постоянство. Классовые профсоюзы, марксистские партии мало-помалу превратились в устойчивые внутренние параметры политической жизни, в том числе и в регламентированной сфере парламентаризма. С социальной точки зрения, имело бы смысл говорить о "партиях рабочего класса", о необычной смеси институциональной долговечности и относительного диссидентства, в состоянии ожидания и, одновременно, управления на средней дистанции - смешанные фигуры, возникшие из удаленности революционной Идеи и близости оппозиционной деятельности.

Три этих референта: рабочее движение, борьба за национальное освобождение и социалистические государства - упорядочили марксизм вокруг реальной Истории и выделили его из простого потока мнений, пусть даже революционных. Эти референты подкрепляли убежденность в том, что История работает на увеличение кредитоспособности марксизма. Восстание, государство, война, нация, массовые профсоюзные акции: все эти термины, к которым, на первый взгляд, сводится политическая способность рабочих, нашли свое полное выражение в марксизме, своего же основного субъективного агента - в марксистской партии.

Поэтапное крушение этого референтного диспозитива можно назвать "кризисом марксизма". Сегодня марксизм неспособен продолжать подводить черту под Историей. Кредит дове-

1.1. Об исторической референции

рия к марксизму исчерпан - и вот он уже свертывается до **размеров**, отводимых любой другой доктрине.

За какие-то тридцать лет мы увидели, как начался процесс разжалования государственного референта (а именно, критика "реального социализма") и референта национально-освободительных движений (а именно, критика освобожденных наций, в свою очередь - подобно Вьетнаму⁴ - оказавшихся способными к военной экспансии).

Если же Польше - по крайней мере, после Гданьска-1980 - предстояло *довершить* кризис, то это потому, что там радикальный кризис испытала почти вековая связь между марксизмом и рабочим движением: так исчезла третья, и последняя, референция в ее простой форме.

Государственный референт первым вступил в эпоху недоверия, главным образом - в свете подведения советских итогов.

Отнесемся к этому по-философски настороженно. Недоверие, которому подвергся Советский Союз, столь глубоко, а банальность его фиаско столь несомненна, что очень даже может быть, что мысль потеряла последний след того, что на самом деле служило ставкой той исторической авантюры, о которой идет речь. Свидетельство обладает страшной мощью сокрытия.

Преимущественной мишенью нападков, имеющих целью отбросить СССР за пределы какой бы то ни было разумной политики, - обычно является террор и подавление, т. е. широкий массив засвидетельствованных фактов.

Но каков порядок оснований, которым подтверждается это неразумие? Каково то мнимое политическое здоровье, что ставит здесь диагноз советской патологии?

Субъективно хорошо известно, что русские ужасы донесены до западного сознания, в конечном итоге, благодаря пророческим источникам искусства. Простого изложения фактов, описанных у Виктора Сержа или Давида Руссе и многих других, было недостаточно. Только гений Солженицына смог потрясти режим слепых достоверностей. Вот та точка, где искусство предвосхищает фигуры политического сознания.

Здесь - для тех, кто, как и я, считает, что литература способ-

на именовать то реальное, к которому политика остается закрытой, - имеется повод затеять литературный спор.

Ведь надо проявить твердость, чтобы признать, что изображение Террора не является и не может быть радикальной критикой его политических оснований.

II. Солженицын и Шаламов

Итак, "Архипелаг Гулаг" как бы напомнил Западу о его долге, о его совести. Он, так сказать, положил конец марксистским блужданиям интеллектуалов. Представ перед ужасом реально-го, покаявшиеся революционеры, якобы вернулись на путь Закона и Права.

у

Позвольте мне сначала поздравить вас с тем, что Солженицын некоторым образом выше (пусть исторически и отстав) этого массового возвращения французских интеллектуалов к парламентской демократии как к некоей альфе и омеге политических убеждений. Солженицын явно не печется о правах человека и насмехается над парламентами. В средоточии его суждений располагается духовная Россия, страдания которой равнозначны искуплению грехов всего человечества. Что движет его прозу и одушевляет ее эзотеризмом и масштабностью, так это христологическое призвание русского народа. Потребовалось распятие Сталиным, чтобы именно Россия смогла возвестить миру Зло материалистической идеологии. Тем самым Солженицын безусловно отвергает демократическое бессилие. Борясь с богохульной тотальностью красного деспота, он взывает к тотальности души Господа, к тотальности того истинного, трансцендентность коего избрала Россию ради скорбного наставления веку сему.

Но ведь - сколь бы притянутым за уши ни казался этот парадокс - с единственной точки зрения, которая нас занимает, с точки зрения постулирования нового политического концепта,

надо признать, что в этом отношении Солженицын принадлежит к тому же измерению, что и Сталин; он является скорее какой-то изнанкой Сталина, нежели его ниспровергателем.

Политический путь Солженицына, разумеется, прослеживается по его ненависти к Сталину. Но место этой ненависти - то, что обосновывает возможность и творческую способность ненависти, - остается неподвижным. И Солженицын, и Сталин мыслят исходя из русского национализма, которым всегда овладевает возвышенный народнический дух, когда фигура Великого Инквизитора, располагаясь в эпицентре бури страданий, являет собой стигмат блага, превышающего то, на которое способен Запад, безвольно устроившийся в своем благополучии и спокойствии.

Лагеря для Солженицына служат пророческим аргументом. Дело здесь в том, чтобы обновлять свежими данными досье на Зло, чтобы духовная требовательность, единственно соразмерная абсолютному преступлению, «снялась» (в гегелевском смысле *Aufliebung*) на дне пропасти.

Как писатель, Солженицын развивает ресурсы русской традиции в том виде, в каком она издавна складывается для этого великого народа, рассеянного по холодной равнине: традиции, предьявляющей необычайное равновесие реализма, извлеченного из тьмы блужданий и смерти, и чаяния тысячелетнего царства, главным носителем которого является огромная крестьянская масса.

Итак, Солженицын подверг тщательной инвентаризации лагерный мир лишь для того, чтобы очертить все, что в нем было радикального (по логике писателя). И так он способствовал тому, что на Западе осознание феномена сталинизма оказалось сдвинутым и ограниченным, одновременно и обобщенным (лагеря - истина коммунизма), и легкомысленным (с этим ничего не поделаешь, необходимо разве что, поживаясь, держаться того немногого, что имеешь). Ведь западных интеллектуалов вряд ли волновала мощная национально-христианская проблематика Солженицына. Их интересы заключались в другом. Речь шла о том, что революция перестает быть сквозным концептом,

позволяющим философски мыслить политику. Тут западные интеллектуалы воображали, будто совершают какое-то освобождение, тогда как они были всего лишь безымянными носителями определенного симптома, симптома универсального кризиса политики и "освобождения" ее от малейших мыслительных усилий.

Симптоматический характер этого развенчания прочитывается в его импульсивной необузданности. Раз уж на карту была поставлена сама связь между субъектом и политикой, недостаточно было просто объявить революцию невозможной - что для лаканианца возвысило бы ее до уровня реального. Необходимо было провозгласить революцию преступлением. И поскольку настоящим политическим преступлением, засвидетельствованным в XX столетии, был нацизм, грандиозное предприятие Солженицына, христологическое, националистское и антидемократическое, свели к идеологическому уравниванию, непосредственно ощутимому в пропаганде: Сталин-де это Гитлер. В противовес им, дескать, чего-то стоят одни лишь парламенты и свободное предпринимательство.

В общем, Солженицын - слишком русский, и поэтому Запад позаимствовал у него лишь то утверждение, что произвел уже и сам, скудными и жалкими силами своей собственной реакционности: что Сталин был тоталитарным правителем.

Но категория "тоталитаризма", сама являющаяся оперативным понятием лишь в сцеплении с демократией, располагается, как я уже писал, по эту сторону реквизитов планетарного кризиса политического. Эта категория не открывает мысль ее собственному императиву. Значит, получается, что в нависшем над нами солженицынском утесе политическое сознание русских лагерей, миллионов погибших, общего террора, всего того, что происходило в России, и того, что нам со всем этим предстоит сделать, остается для нас закрытым.

Нельзя ошибиться[^] писателем, имея дело с тем случаем, когда именно искусство управляет возможностью политической мысли. А величие Солженицына - сколь бы великим он ни был, - отражается в зеркале того черного величия, с которым Сталин вершил свою красную катастрофу.

Тот, на кого нам следует опереться, это Варлам Шаламов", чьи первые тексты о Колыме - указание даты здесь важно - **вышли** во Франции в 1969 г.^{Ш5}

Шаламов находился в заключении в лагерях Северо-восточной Сибири в течение двадцати лет. Он умер в России, освобожденным, но больным и психически надорванным. Шаламов не использует лагеря ради апологетики Зла. Он принадлежит к другой русской традиции, к той, что пристально следит за физической природой человека, проясняет ее при помощи некоторых легко передаваемых принципов. Так, замечая, что лошади, попадая в страшные сибирские испытания, погибали быстрее людей, Шаламов говорит, что "понял самое главное, что человек стал человеком не потому что он Божье создание [...]. А потому что был он *физически* крепче, выносливее всех животных, а позднее потому что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому".⁶

Если упоминать предшественника "Колымских рассказов", то на ум приходит Чехов, но это Чехов жесткий, избавленный от меланхолии, осмелюсь сказать, постреволюционный Чехов. "Колымские рассказы" располагаются на границе художественной литературы и мемуаров, хронологически же невыдержанный порядок, в котором они представлены во французском издании, задает не целостную архитеконику, но, скорее, нечто вроде лыжного пути, началом которого служит вопрос: "Как топчут дорогу по снежной целине?", а концом фраза: "Это было письмо Пастернака". Сразу же думаешь о том, что снег страдания похож на страницу и что, в конечном счете, Шаламов позаимствовал у Пастернака "почерк... стремительный, летящий, и в то же время четкий, разборчивый".

Лагерный мир в том виде, как его со своеобразной фрагментарной мягкостью вычерчивает эта трасса, - очевидно - ужасен. Постоянными координатами тамошней жизни служат смерть, побои, голод, безразличие, изнуренность. И все-таки цель Шаламова - не в абсолютизации Зла. Речь, скорее, идет о создании такого мира, где исключительность являлась бы метафорой нормальности, а литературное погружение в этот кош-

мар пробуждало бы нас к универсальности воли.

Где Солженицын видит архивы Дьявола, Шаламов находит - у пределов возможного - жесткое ядро некоей этики. Даже географическая изоляция Колымы (туда приплывают на пароходе, а остальную страну заключенные называют "материком") способствует созданию странного впечатления вывернутой наизнанку утопии. Ведь читатель постепенно забывает, что речь идет о политике, о государстве, о централизованно осуществленных злодеяниях, чтобы замкнуться в некоем завершенном мире, где все различия в сознании и поведении - разветвленные и глубокие - сведены к чему-то основному. Вот точка, где читатель вступает на другой возможный путь восприятия самш политической истины.

К примеру, Сталин для узников был второстепенной фигурой: "Смерть Сталина не произвела на нас, многоопытных людей, надлежащего впечатления". Означает ли это, что за все несет ответственность "система", а не индивид Сталин? У Шаламова нет и намека на это. Что знают "бывалые люди", так это то, что применительно к реальному лагерей (как и, в известном смысле, к реальному заводу) циркуляции истины способствует не напоминание о масштабных структурных репрессиях, а упорство в удерживании некоторых точек сознания и практики, из которой можно освещать тяжелую плотность времени и пресечь субъективное разложение. Шаламов формулирует то, что можно было бы назвать "хартией поведения" заключенных - в сущности, классовую точку зрения: "Я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере - это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов - подлец, а Петров - шпион, а Заславский - лжесвидетель".

В остальном же, в этой перспективе официальная Система-ее следователи, стукачи, начальники... - не столько Зло, сколько нечто гомогенное заключенным, в той мере, в какой она организует некий опыт, особого рода чудовищное производство. С

точки зрения Шаламова ужасным здесь являются всего не коммунисты, а "блатные":

"Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же не люди".

Тема блатных выступает в книге как принципиально важная. В ней сосредоточиваются весь страх и ненависть. По Шаламову, преступление Сталина - не столько лагеря, сколько то, что в лагерях он предоставил власть и свободу блатным, поскольку для них ничтожными были и коллективная совесть, и твердые принципы. Вот где определяющий момент: по Шаламову, лагеря возникли не из-за политики, но из-за ее отсутствия. Не из-за отсутствия ее в государстве - из-за ее субъективного отсутствия. Интеллигенты подвергаются критике за то, что, по причине своей политической слабости, они усвоили себе блатную "мораль":

"Словом, интеллигент хочет [...] быть с блатарями - блатным, с уголовниками - уголовником. Ворует, пьет, и даже получает срок по "бытовой" - проклятое клеймо политического снято с него, наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических".

Здесь Шаламов затрагивает тему мрачного эгалитаризма сталинских лагерей. Здесь бьют не Другого (еврея, коммуниста, русского или поляка в качестве заключенных), как было в нацистских лагерях. Бьют того же самого. Если лагерь есть опыт этического, в котором главным противником является блатной, то значит лагерь сам по себе не имеет диалектического значения. Он не порождает никакой политической мысли в отношении к государству, но только способ сингулярного и имманентного определения:

"Сталинская коса смерти косила всех без различия [...] Все же были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей".

Случайность, которую выделяет здесь Шаламов, закрывает все пути к апологетической доктрине лагерей - не открывая,

тем не менее, дорогу иррациональному. Лагерь, прежде всего, воспринимается как воздействие реального, помогающее, исходя из этической гипотезы, строить литературное суждение об истине. И у истоков этого реального располагается как раз глубокая аполитичность этого реального:

"У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени, не было за душой ничего положительного [...]. Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умирать".

А также:

"Они изо всех сил старались забыть, что они были политическими. Впрочем, они никогда не были политическими, так же, как и все "пятьдесят ВОСЬМЬДЕ" той эпохи.

"Массовые убийства тысяч людей могут остаться полностью безнаказанными только потому, что эти люди были невиновными".

Итак, все "Колымские рассказы" от имени жертв призывают нас не завязать в политической невинности. Как раз эту невинность и следует изобрести - по ту сторону чистой реакции. Чтобы покончить с террором, надо выдвинуть такую политику, которая восстановила бы то, на чем был поставлен крест ее отсутствием.

И как раз это служит основой периодизации явлений. Не существует извращенной и неизменной системы тоталитаризма. История лагерей делится на несколько периодов. Центральным является страшное время: 1937-1938 гг. Именно тогда, в сингулярной особенности этого момента, и развернулась жестокость. Шаламов однозначно датирует пытки и допросы концом 1937 г., равно как и поголовные расстрелы заключенных. Был период до 1937 года, был период после 1937 года и был сам 1937 год, как если бы режим переживал там высшую точку своего развития.

Кроме того, как бы являя изнанку этического разума, с пози-

ции **которого** написаны все рассказы, в них присутствует еще **своеобразная** поэтика Крайнего Севера, где мороз, снег, деревья и бури, эти тяжелые препятствия на пути простого выживания "доходяг", представляют собой еще и субстанцию магическую, удаленную и одновременно близкую и знакомую, которой Шаламов посвящает целые рассказы, например, "Стланник", где повествуется о дружбе человека и куста. О дружбе тем более захватывающей, что, как и все остальное в лагерях, эта замкнутая природа не имеет ничего общего с родной природой того, кто, после своего освобождения, пишет:

"И, трогая замерзшей рукой холодные бурые перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин, я понял, что самое дорогое, самое важное для человека - время, когда рождается родина, пока семья и любовь еще не родились, это время детства и ранней юности. И сердце мое сжалось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой, моей Москвой".

Пожалуй, понятно, что в рассказах Шаламова не подводятся политические итоги ни в отношении Сталина, ни его лагерей.

Эти итоги, на самом деле, нам еще предстоит подвести, потому что возможным это станет тогда, когда освободительная политика - единственная, которой может быть сопричастна философия, - установится в стихии утверждения самой политики, по ту сторону поразившего ее сегодня смертельного кризиса. Но Шаламов оставил нам бесконечно драгоценное завещание: прозу, в которой следует укоренять волю к подведению этого итога. Шаламов - не вершит суд, хотя судит безапелляционно. Он - форма совести, образцовой и способной передаваться.

Необходимо видеть советский террор таким, каким он был, причем недопустимы оговорки, в том роде, что: "это не мы". Ведь он тоже - особым образом - наша история, поскольку речь идет о том, чтобы помыслить его и осуществить с ним разрыв. Шаламов не бросает нас, подводя вплотную к тому, относительно чего мы иногда предпочитаем притворяться, что это нас не тревожит. От нас больше, чем от кого бы то ни было, зависит, чтобы никогда не повторялся, чтобы в самих своих основах был

искоренен террор, субъективную истину которого Шаламов выражает в прозрачной и по-братски открытой прозе.

Шаламов дает нам руководство к действию, коль скоро последнее стремится по-новому сформировать политику, достойную этого имени, т. е. гомогенную истинному напряжению субъекта.

И какой проводник может заменить того, кто - как он рассказывает в "Первом зубе" - в момент, когда у него на глазах избивают заключенного, понимает, что "решается сейчас всё, вся моя жизнь". И того, кто выходит из строя, чтобы объявить дрожащим голосом: "Не смейте бить человека", даже если на следующую ночь его избыют и он потеряет свой первый зуб.

Но также и того, кто в рассказе "Марсель Пруст" описывает ценность книг, их путь и утрату, а также то, что, начав с четвертого тома, неизвестно почему присланного знакомому фельдшеру, он был "раздавлен Германтом". Он, "колымчанин, зэка".

Ш. Конец побед

Прочтя книгу этого зэка, мы, не отказываясь от темы выделения сущности политики, укрепились в уверенности, что государственный референт политики полностью разрушен. Но тем самым - вместе с этим приютом реального - вводятся разделение и двусмысленность в том, эмблемой чего было это государство: в понятие *победы*. Что это такое *победить*? На протяжении всего XIX в. этот вопрос оставался открытым для политического сознания рабочих. Ленинизм - считавшийся марксизмом "эпохи победоносных пролетарских революций" - прояснил этот момент: "победить" означало в соответствии с конкретными национальными условиями вступить на путь, открытый Октябрем 17 годаи Советским Союзом. У победы была родина, "родина социализма".

Но затем победа оказалась экспатрирована. И СССР, и

Китай, и прочие государства - даже в обыденном сознании тех, кто рьяно отстаивает свою победоносность - перестают быть ее **эмблемой**, так что даже происходит инверсия: они получают черную метку, а сама эта победа передается блужданию и подозрению. В этой связи первый из ударов, наносимых по концептам марксизма, пришелся на понятие *диктатуры пролетариата*, более других опороченное победоносной субъективностью, порожденной Октябрем. Кризис диктатуры пролетариата затушеввал разграничительную линию между марксизмом, понимаемым как политический реализм, и прочими течениями революционной мысли. Диктатура пролетариата некоторым образом представляла собой концептуальный сгусток победоносного политического процесса, где скрещивались общая тема политической способности пролетариев (диктатура пролетариата симметрична диктатуре буржуазии) и конкретная форма послереволюционного государства (диктатура пролетариата как классовая сущность социалистического государства). Когда историчность победы в СССР была поставлена под сомнение, это пошатнуло концептуальную устойчивость этого скрещения.

Второй референт (национально-освободительные движения) оказался "разжалован" в результате становления Вьетнама государством - тем более, что вовлеченность западной молодежи в дело поддержки борьбы народов Индокитая служила одним из важнейших источников политического радикализма. Сегодня Вьетнам предстает в качестве экспансионистской милитаристской державы, в значительной степени опирающейся на советский строй, мощный национальный динамизм которой не является органически связанным с динамизмом народа. Очевидное сегодня противоречие между вьетнамским национализмом и степенью политической ангажированности простого народа заставляет задаться вопросом о действительной крепости их единства, на что некогда делала упор пропаганда. Так называемая "народная" война, без всякого сомнения, победоносно решила национальный вопрос. Но происходило ли это в диалектическом единстве с освобождением простого народа? Се-

годня можно спросить - не было ли то, что принимали за это народное единство, попросту особым техническим приемом национальной войны, той общей современной формой, в которую такая война выливается в нынешнюю эпоху, притом, что этой форме вовсе не является необходимо присущей какая бы то ни было политическая народно-освободительная универсальность. Следовательно, если поддержка военных действий народов Индокитая - в рамках должного освобождения наций, - остается справедливой, то справедливость эту требуется ограничить от всего, что притязало превзойти ее, усматривая в народной войне глубокий источник какой-то политической новизны и пристанище возрождения марксизма. Скорее, вьетнамская война - ее продолжение показывает это - установила то, на что еще был способен - в изобретениях, приспособленных к условиям наших дней - национализм. Она доказала, что (буржуазная) эпоха национальных войн не только не миновала, но и содержит политический и военный потенциал инноваций. В этом заключается полезный урок для аналитического марксизма, но слабое утешение для марксизма воинствующего. Тактики и принципы длительной войны составляют сегодня часть универсального арсенала политических методов. Их классовый характер упразднен, и - если речь идет об изобретениях марксизма - непрерывность их применения больше не является референтом, действительным для революционной специфичности марксизма.

IV. Универсальное значение польского рабочего движения

После того, как поставлены под сомнение Государство и войны, нельзя ли сосредоточиться исключительно на доводах социального, в особенности, рабочего движения? Можно ли сохранить жизненность связи между марксизмом, избавленным

от государственных авантюр XX в., и спонтанностью того, что **я** назвал *истериями социального*? Речь идет о политической жизни с одним-единственным референтом, не засвидетельствованным за пределами самого себя и не представимым ни в Государстве, ни в Нации - ни даже в Народе.

И **все**-таки о какой "жизни" идет речь? Где и как рабочий класс доказал свою независимую политическую способность, если не сослаться на опыт советского - или китайского - государств, равно как и разнообразных национально-освободительных движений? Если ограничиться Европой, то на что можно было бы всерьез указать, кроме спартаковского восстания в Германии в 1919 г.? Да и в этом случае - что можно возразить тем оппонентам, которые видят здесь, если говорить об историческом опыте, лишь решительное движение масс - под руководством правоверных марксистов - к кровавому поражению? И противопоставить этому в порядке альтернативы можно только медленное парламентское загнивание, позорное зрелище коего являет нам ФКП. Кажется, будто рабочее движение - понимаемое как социально детерминированное - функционирует не как референт чего бы то ни было, но, скорее, как повторение того, что с незапамятных времен было уделом угнетенных (сначала рабов, потом крестьян): они чередуют безмолвную покорность с бунтами, потопляемыми в крови. А в промежутке - забастовки с целью всего-навсего прибавления зарплат. Если предположить, что политическая способность рабочих - когда действует закон капитала и Империй - не выходит за рамки универсального принципа бунта (проходит ли он в неистовых, или в умеренных формах), то возникает впечатление, будто рушится последнее основание марксистской гипотезы.

Именно в этой точке польское рабочее движение, по крайней мере между 1980 и 1984 гг., предложило нечто новое, оказавшееся достаточно долговечным и независимым от тактических перипетий и провалов его конкретной истории. На самом деле, вполне возможно, что это движение исчерпало непосредственные ресурсы смысла, которыми располагал его первый

этап. Может быть, сегодня оно побеждено или находится в состоянии застоя. И все-таки автономия политики подразумевает автономию ее генеалогии. К тому же, каково точное значение "краха" польского движения, коль скоро само оно утверждало, что его цель - не "победа"? Обо всем этом следует поразмыслить. Даже если Польша - как событие - исчезла из журналистской хроники, то еще вовсе нельзя сказать, что новизна, несомая этим событием, утратила актуальность.

Эта новизна тем более значительна, что во многих отношениях польское движение было наиболее "рабочим" в классическом смысле - и наиболее "марксистским" в классическом смысле - из всех движений, которые знала Европа с начала века. В Польше промышленный рабочий класс был и остается, даже в неудачах, повсеместно признанным в качестве политической основы того, что поляки называют "обществом". Польский рабочий класс был не просто составной частью общесоциального движения, он не просто в нем числился. Напротив, именно он, исходя из собственных интересов, образовывал центр разветвления новой политической мысли во всем общественном теле. Интеллектуалы, крестьяне, сельская молодежь, по их собственному признанию, находились под политической защитой заводских демократических организаций. Политические дебаты - по своей практической сущности - отсылали к дебатам между рабочими.

Однако - надо принять к сведению, что эта почти в химически чистом виде рабочая мысль заняла анти-марксистско-ленинские позиции. Само рабочее движение, политически сформировавшееся в событиях с участием масс, организовало собственную мысль, радикально дистанцировавшись от марксизма-ленинизма.

Итак, перед нами движение, которое, с одной стороны, вроде бы впервые за длительное время подтверждает изначальную гипотезу марксизма: существование особой политической пролетарской способности, гетерогенной по отношению к политической способности буржуазии; с другой же стороны, это подтверждение реализуется только в номинальной инверсии самой

гипотезы, в стихии враждебности к тому, чем ее нарекли при **возникновении**, т. е. к марксизму.

Из того, что это наиболее значительное рабочее движение **современности** достигает саморазвития собственной политической мысли, лишь полностью дистанцировавшись от марксизма-ленинизма, как и из той роли, какую при этом сыграли **национальные** особенности (Церковь и т. д.), по-моему, явствует, что у нас на глазах универсальным образом расторглись **органические** узы, связывавшие марксизм и социальную рабочую референцию.

Следовательно, сегодня ни социалистические государства, ни борьба за национальное освобождение, ни рабочее движение не образуют исторических референтов, способных гарантировать конкретную универсальность марксизма.

V. Реактивное значение современного антимарксизма

Не будет преувеличением сказать, что марксизм потерпел историческое поражение. Его концептуальная действенность сохраняется только в порядке дискурса, обреченного общему уделу, когда слабеет живая субстанция воплощения.

Есть два способа отношения к такому разрушению (destruction), две принципиальные позиции мысли.

Первый сводится к утверждению о том, что марксизм был осужден историей и приговор этот окончателен. Поскольку марксизм взялся предоставить позитивные исторические гарантии, его следует судить по его собственным критериям. Историческая деструкция марксизма не означает ничего, кроме его смерти - его смерти как универсального события политической мысли. "Реальный социализм" - это приговор, вынесенный историей относительно историчности самого марксизма: он отжил свое. Все, что осталось от его присутствия, это лишь говорящий труп, некий дискурс, подерживаемый лишь лживыми умолчаниями о его смерти.

Эта весьма распространенная сегодня идея развивается, так сказать, сама собой. Это и есть главное возражение, которое можно выдвинуть по ее адресу. Говорить сегодня, что марксизм, по сравнению с живой мыслью, мертв, - это просто-напросто констатировать факт. Тут нет ни малейшей сколько-нибудь глубокой идеи, никакого открытия. Это общее место, относительно которого следует опасаться, что оно - лишь иллюзия очевидности.

Поразительно здесь то, что вся сила этой идеи сводится к чистой реактивности. Каково сегодня преобладающее использование той идеи, что марксизм мертв? Какое широкомасштабное последствие отсюда извлекается? Просто-напросто то, что общая идея политики -иной, нежели управление принудительными ограничениями, а стало быть, политики, достойной мысли, - сама по себе мертва. И то, что такая политика, при которой мысль несет ответственность за бытие - а не только за необходимость, - является пагубной авантюрой. Но разве на самом деле не пагубно ориентироваться на смерть? Антимарксисты нового поколения считают безусловным, что сохранять следует преимущественно то, чем общество располагает и так: свободы, западную мысль, права человека. Иначе говоря, политическая сущность современного антимарксизма фактически проявилась в сплочении интеллектуалов - и впервые массовом - вокруг парламентской формы западных стран, как и в виде отказа от всякого радикализма, от всякой существенности политики.

Этот способ рефлексии исторического разрушения марксизма сводится к реактивному осмыслению достоинств парламентской демократии как государственной формы, хоть и подлежащей совершенствованию, но по сути хорошей. Такой критике политики не удастся выйти за рамки всего-навсего возвращения к либеральной теории политического. Право восстанавливается в качестве того, основание чего должна обеспечивать философия. Первый пример критики, признание которой приводит к реставрации классической эпохи философии политического.

Итак, современный антимарксизм действует, руководствуясь западно-центристскими и консервативными принципами. Ядро антимарксизма состоит в той концептуальной реактивной **формации**, где исторический динамизм заменен консервативно-демократической духовностью. Речь здесь идет о подлинной катастрофе мысли, сопутствующим моментом которой является катастрофа марксизма. Эта катастрофа отняла всякую радикальность у философского вопрошания о политическом. И отсюда, отступление последнего - это, скорее, его провал.

А вот то, что современный антимарксизм называет крахом и ложью марксизма, даже не доходит до уровня радикальной мысли о последствиях разрушения марксизма.

Предложим следующий парадокс: если мы провозглашаем себя "марксистами" - каким бы ни был сегодня смысл этого термина, - мы тем самым говорим, что положение вещей, конечно же, гораздо серьезнее, чем может воображать антимарксизм. Ведь поскольку антимарксистская критика (Гулаг, конец свобод, защита Запада...) является всего лишь повторением стародавних возражений, то за отсутствием новых фактов, нам пришлось бы ответить на нее стародавними опровержениями.

Между тем, в кризисе марксизма проблем столько, сколько антимарксизму и не снилось.

Параллельным образом догматическая защита марксизма сводится к повторению стародавнего опровержения стародавних возражений, повторяемых, в свою очередь, современным антимарксизмом.

И современный антимарксизм, и старый оборонительный марксизм представляют собой два аспекта одного и того же феномена: феномена сохранения политического в состоянии отступления - доходящего до того, что мысль под давлением собственного кризисного императива отрекается от самой себя.

Зато то, что рабочая "марксистская" объективность польского движения развертывается в субъективном антимарксизме, представляет собой противоречивый результат ее новизны. Ведь дело здесь заключается именно в новой политической конфигурации способности рабочих, а следовательно, о новой, пока не-

высказанной, конфигурации самого марксизма.

Но чтобы помыслить эту новизну, надо придерживаться следующего высказывания, единственного, каковое не является реактивным - ибо всякая антимарксистская мысль об исторической деструкции марксизма обнаруживает свою реактивность: современное бытие того, в чем проявится новая фигура политики и что сможет еще называться "марксизмом", целью которого служит развитие гипотезы об освобождении, есть не что иное, как завершенная мысль о деструкции марксизма.

VI. Разрушающая субъективация и делокализация

Марксизм сегодня не умер. Он исторически разрушен. Но существует и некое бытие этого разрушения. Точнее говоря: возможно и необходимо держаться имманентности этого разрушения.

Реальное существование марксизма на каждом из этапов его развития представляет собой имманентную политическую данность. Марксизм - не доктрина. Это имя Единого для соответствующей составной сети политических практик. Осмысление кризиса марксизма как чего-то реального ("реального социализма"), которое судит дискурс (марксистскую доктрину) и дисквалифицирует его, попадает мимо цели. В свою очередь, марксизм фактически может быть "реально существующим" лишь постольку, поскольку об этом утверждает некий политический субъект. В результате получается, что мысль о разрушении марксизма определяет себя в качестве одного из исторических моментов в существовании политического субъекта. Сопоставление реальности и идеологии выносит марксизм за скобки, не позволяя продумывать ни его силу, ни его слабость.

Основополагающий вопрос, следовательно, состоит в том, с какой точки зрения мы рассматриваем разрушение марксизма.

Сопричастны мы или нет тому, что претерпевает этот процесс разрушения? Я утверждаю, что радикальная мысль о кризисе марксизма требует, чтобы мы заняли, субъективно и политически, имманентную по отношению к этому кризису Позицию.

Чтобы предложить концепт разрушения марксизма, надо быть субъектом этого разрушения. Любое удаление от этой центральной позиции производит вялую и совершенно внешнюю, несамостоятельную и реактивную мысль о разбираемом фундаментальном кризисе политики.

Естественно, я не утверждаю того, что для того, чтобы критиковать марксизм, в марксизм необходимо "верить". Что касается меня, я в марксизм несколько не верю. Я не выдвигаю никаких гипотез, основанных на веровании или на преданности. Марксизм никоим образом не является Большим Повествованием. Марксизм - это непротиворечивость (consistance) некоего политического субъекта, некоей гетерогенной политической способности. Он - жизнь гипотезы. Чрезвычайная опасность, в которую попадает эта непротиворечивость, испытывается в субъективном опыте этой опасности. Испытание этой способности - у пределов ее несуществования - требует, чтобы мы присоединились к этому несуществованию. Ведь, как показывает опыт, внеположенность приводит к некоему внешнему концепту кризиса, к возбуждению судебного дела против идеологии на основании предпосылки о реальном политическом распаде. Кризис политики связывается с отступанием политического. Однако кризис марксизма - как раз в том, что марксизм не выдерживает вторжения в себя реального. Только изнутри разрушенного марксизма и испытывается то давление реального, которое извещает нас об обстоятельствах исторического процесса этого разрушения.

При рассмотрении кризиса политики присутствует и топологический вопрос. Какую близость согласимся мы поддерживать с бытием-в-разрушении марксизма? Какой имманентной смелостью убеждается при этом мысль? Именно к такой близости и к такой смелости мы и предназначаем следующее вы ска-

зывается: радикальная мысль о разрушении марксизма по своей сути является не чем иным, как актуальной фигурой марксизма как политики. В этом и заключается активная позиция современного политического субъекта.

Бытие в качестве субъекта кризиса марксизма противостоит идее бытия в качестве его объекта. Что означает "быть объектом кризиса марксизма"? Это означает: защищать марксизм, защищать доктринальный корпус от разрушения. Это означает: сохранять в искусственной жизни дискурса все отжившие референции. Это означает: продолжать подводить черту под историей, хотя кредит доверия исчерпан. Сегодня имеется какая-то, скажем, марксистско-ленинская манера произносить такие речи в защиту марксизма, которые представляют собой всего-навсего фигуру его смерти. Вот этот марксизм - который заручается поддержкой могучих государств или же предположением о том, что существует некий политический "рабочий класс" - уже не обладает смелостью мысли. Это какой-то государственный пережиток, аппарат крупных партий и профсоюзов, политически чудовищный и философски бесплодный.

Ни один марксист сегодня не может существовать в мысли иначе, нежели как субъект, ориентированный на деструкцию марксизма. Провозглашение здоровья марксизма государствами, партиями или академическими интеллектуалами - это лекарство, залечивающее до смерти.

Разовьем эту идею далее. По правде говоря, реально разрушать марксизм и, особенно, марксистско-ленинскую форму марксизма могут только политики. Дело разрушения, сам переход от разрушения к смерти того, что должно умереть, и к рождению того, чему предстоит родиться, - вот задачи марксистской политики нового типа. Ибо смерть и рождение сами по себе суть имманентные феномены.

Что такое марксист сегодня? Марксист - это тот, кто при разрушении марксизма находится в субъективной позиции: кто имманентным способом провозглашает то, что должно умереть и что следовательно само умирает, - марксист же использует эту смерть в качестве причины для перестройки политики. На

реем протяжении этого практического процесса может производиться действительно политическая мысль о разрушении марксизма.

Располагаться в пределах марксизма означает занимать разрушенное, а следовательно, необитаемое место. Я полагаю, что **существует** такая марксистская субъективность, которая обитает в необитаемом. По отношению к разрушенному марксизму она располагается в ситуации внутреннего/внешнего. Топологии политики, остающейся мыслить в месте необитаемого, подбавляет порядок кривизны, не предполагающей ни полностью интериорного отношения к марксистско-ленинскому наследию, ни реактивной экстериорности антимарксизма. Это отношение кривизны противостоят всякой победоносности предшествовавшего марксизма, непогрешимой правоте и прямолинейности "генеральной линии". Отношение политической мысли к ее собственной истории может сегодня состояться в смещении.

Иначе это можно выразить так: сегодня референты политики не являются марксистскими. Происходит некая фундаментальная делокализация марксизма. Прежде существовала своего рода автореференция, так как марксизм, как правило, добывал себе кредит доверия у государств, называвших себя марксистскими, у национально-освободительной борьбы под руководством марксистских партий, у рабочего движения в рамках марксистского синдикализма. Но эти референции отжили свое. Крупные исторические движения масс уже не соотносятся с марксизмом, по крайней мере, по окончании культурной революции в Китае: посмотрите на Польшу, посмотрите на Иран. Из-за этого происходит своего рода экспатриация политики. Историческая территориальность политики больше не является для нее транзитивной. Эпоха автореференции политики завершена. У политики больше нет исторической родины.

Все политические референты, наделенные реальной рабочей и народной жизнью, сегодня по отношению к марксизму являются атипичными, делокализованными, блуждающими. Какой-нибудь ортодоксальный марксист возразит на это, что польское движение является национальным и религиозным, что

иранское движение - религиозное и фанатичное, что марксизму и дела нет до основ всего этого. В результате ортодоксальный марксизм окажется лишь каким-то пустым объектом, присутствующим при процессе разрушения марксизма.

Всякой реальной политике свойственно то, что ее исторические референты невозможно помыслить ортодоксальными способами. Ортодоксия есть мнение, держащееся прямого пути, но для марксизма характерна кривизна, и у него больше нет ресурсов, чтобы являть собою "прямыню" мысли.

Следует расположиться в делокализованном месте, где будет произведена мысль о том, что ортодоксия представляет в качестве немислимого.

По правде говоря, для нас только и остается, что необитаемое место некой грядущей марксистской гетеродоксии.

VII. Фигура нового начала

Если марксизм беззащитен, то это потому, что его еще надо начать.

Однажды марксизм уже начинался, между 1840 и 1850 годами. Затем, в истории, прелюдией к которой послужило это начало, марксизм знал несколько этапов - например, победу Октября 1917 г. и теоретико-политическую форму ленинизма. Сегодня этапов гораздо больше, чем один. Говорить об этапе означает, что первоначально навсегда сохраняет свою значимость. Мы же вводим радикальную гипотезу, согласно которой это начало как раз перестало иметь значение и что целый цикл существования марксизма завершился его экспатриацией.

Когда марксизм основывался Марксом, его основным референтом было рабочее движение. Не существовало ни референта социалистических государств, ни референта национально-освободительных движений. Референт рабочего движения, очевидно, не был автореферентией. Рабочее движение в момент

своего исторического возникновения, с 1820-1830-гг., разумеется, не было "марксистским". Если мы перечитаем "Манифест коммунистической партии", этот всецело инаугурационный IгКСТ, мы увидим, что Маркс недвусмысленно обосновывает Jggoio политическую мысль предположением о совершенно независимом существовании рабочего движения. Исходная точка манифеста: "имеется революционное рабочее движение".⁷ Т. е. уо, что некий субъект обозначает в симптоме как препятствие, наталкиваясь на которое, он утрачивает связанность. Это - чистое "имеется", это - некое реальное. И Маркс выдвигает тот или иной тезис именно по отношению к этому "имеется". Таков смысл загадочной формулы, согласно которой "коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям". Коммунисты, чье политическое обозначение Маркс таким образом обосновывает, не перегруппировываются согласно этому обозначению. Они - не фракция, которой доктринально предписано единство. Коммунисты суть одно из существующих измерений всей совокупности рабочего движения, того, что Маркс называет "рабочими партиями". "Коммунистическая партия" - один из обобщенных атрибутов рабочих партий. Маркс стремится изолировать и помыслить этот атрибут, посредством чего вся реальность рабочего движения задается как реальность политическая.

В конечном итоге, тезис Маркса не только в том, что "имеется рабочее движение". Тезис Маркса состоит и в том, что "имеются коммунисты", существует специфическое, нередуцируемое измерение рабочего движения: Маркс пытается наделить его критериями и установить его политическую непротиворечивость. Здесь проводится интерпретативная операция, формулирующая истину пролетарской политики, концептуальное имя которой - *коммунистическая партия*.

Такова фигура начала. Речь не идет о том, чтобы выделить и структурировать какую-то часть уже наличествующего явления. Речь идет о некоем "имеется", об акте мысли, разрывающей реальное. Речь идет о форме близости политической мысли к реальности политического движения, данного в атрибутах, в

симптомах и, в особенности, в атрибуте коммунистическом. Когда Маркс объявляет: "призрак бродит по Европе - призрак коммунизма", то сам он не притязает ни на то, чтобы быть этим призраком, ни на то, чтобы вызвать силой своего учения его грозную фигуру. Идея Маркса состоит в том, чтобы помыслить в стихии истины это духовное брожение.

Последующий процесс заключался в длительной марксизации рабочего движения. В основе этой марксизации - доктрина о "слиянии марксизма с рабочим движением". Социал-демократическая партия Германии, Октябрь 1917 г., Третий Интернационал: все они образовывали систему референтов, о которых мы говорили вначале. В этой продолжительной истории марксизму предстояло стать рефлексивной мыслью об этой марксизации. Он обосновал автореференцию последней. Тогда марксизм говорил о способе, каким марксизм проникает в реальность классовой борьбы: с помощью марксистских партий, марксистских директив, марксистских государств. "Имеется" превращается в "имеется марксизм". На всем протяжении этой последовательности марксизм оказывается способным говорить от собственного лица, от лица своей исторической влиятельности, выданного ему кредита доверия и своего победоносного продвижения. Но эта работа состоит и в превращении марксизма в фикцию. Для самого себя марксизм становится своей собственной репрезентацией.

Кризис референтов означает, что сегодня марксизм уже не в состоянии мыслить себя в опыте. Он не высказывается в качестве силы, структурирующей реальную историю. Все разновидности опыта, будучи делокализованными по отношению к марксизму, имеют в виду некую дискретность в прошедшей марксизации истории. Объектом марксизма не может быть марксизация. Именно здесь еще имеется шанс на освобождение политики от марксизированной формы политической философии.

Итак, мы пришли к фигуре начала: наш метод уже не в том, чтобы исходить из тезиса "имеется марксизм", потому что это "имеется" находится в состоянии разрушения. Наш метод состоит в том, чтобы исходить из тезиса "имеется разрыв"; и как

-раз в виду этого "имеется" мы предлагаем, подобно Марксу в *.'Манифесте', инаугурационные политические гипотезы. Кон-
fигурацИЮ говоря, мы (пере)формулируем гипотезу о политический способности, ориентированной на не-господство.

&, Основываясь на этом факте, будет справедливым утверждение о том, что марксизм завершает свою первую жизнь. Пройден некий цикл - здесь и я использую слово "цикл", чтобы отличить его от просто *этапа*. Что завершается - так это первый цикл марксизации, доходящий до точки, где марксизация как объект марксизма совершенно теряется из виду. Эта марксизация произвела много всяких вещей - и восхитительных, и ужасающих: произведения Маркса, Октябрь 1917 г., Сталина, Третий Интернационал, китайскую революцию, освобождение наций Индокитая. Непосредственно же перед нами, примыкая к нам, самая кромка этого цикла, где завершение, скажем простирающееся от китайской культурной революции до польского рабочего движения, уже произошло.

То, что задавалось в этом цикле как принцип существования марксизма, во многом устарело. Вот почему нас снова выводит к фигуре начала. То, что делает подлинно современной политику сегодня, это никак не марксизация, но такое историко-политическое "имеется", чье освободительное измерение, а также несводимость к фигурам господства (в том числе и марксистским), надо переосмыслить вновь.

Мы должны пересоздать "Манифест коммунистической партии".

VIII. Воз-вращение истоков

Чем в фигуре (нового) начала становится то, что называют "опытом марксизма"? Является ли новое начало, как деконструкция марксизма-ленинизма, просто-напросто забвением этого опыта? Вопрос этот имеет столько же - ни больше, ни меньше -

смысла, что и тот, в котором спрашивается, обязательно ли онтологический переворот мышления оборачивается полным забвением метафизики? Ведь марксизм-ленинизм представляет собой как раз метафизическую эпоху политической онтологии.

В плане мышления Маркс не соучаствует почти ни в чем. Гегель для него является обязательным референтом, который, разумеется, сам по себе не задает ни принципа формулировки того, что "имеется", ни правила политической ангажированности. Я бы сказал, что прежний марксизм - марксизм из завершившегося цикла марксизации - в целом функционирует как референция "гегелевского типа" - сразу и необходимая, и не предписывающая ничего predetermined (determine). Марксизм сам для себя превратился в свое собственное гегельянство. Необходимо сломать этот референт марксистского опыта, разобрать его на части и основательно переделать, чтобы он мог на свой лад участвовать в современном порядке обозначения того, что "имеется", того, что было у его истоков и сводится к основополагающей гипотезе: "*Имеется* некая политическая способность, ориентированная на не-господство."

Политика должна осуществить рискованный прорыв в метафизический диспозитив марксистского знания.

Ленин полагал, что Маркс сформулировал три референта мысли: философский (Гегель и немецкий диалектический идеализм), историко-политический (французское революционное рабочее движение) и научный (английская политическая экономия).

У нас же имеются две вещи. Во-первых, у нас имеется марксистская мысль, которая развивалась в цикле марксизации и которая сегодня разрушена; впрочем - ни больше ни меньше, чем была разрушена гегелевская мысль о конце Истории. И во-вторых, у нас, начиная с китайской культурной революции и вплоть до польского рабочего движения, имеется серия политических событий, чью симптоматическую функцию еще надо оценить, субъект же оных - проинтерпретировать, зная, что в рамках простой филиации уже завершившегося цикла марксизма этот субъект - в том, что касается его истины - осмыслению не доступен.

Л. Иначе говоря, нам следует заново высказаться по вопросу об источниках марксизма. Возможной дефиницией всего первого цикла существования марксизма будет та, что его источниками были немецкая философия, английская экономия и французская Политика. Идея (нового) начала возвещает, что эти три источника сегодня иссякли. И что новый расклад источников нашей мысли, возможно, будет совершенно гетерогенным по отношению к тому, что смогла зафиксировать марксистская традиция.

- Если Хайдеггеру пришлось искать в поэме то, что, несмотря на эпохальное воздействие метафизики, для него уже служило источником ее деконструкции, то точно так же и мы должны найти блуждающее истинное высказывание, в котором - несмотря на воздействие марксизации - в конечном итоге выразится то, что она затемняет и подвергает забвению в марксистской политике. Этой политике - в том, что касается ее истоков - требуется не столько доктрина, сколько некая поэма, т. е. интерпретация событий;

Прежде всего существует польское рабочее движение, которое является, скорее, источником, нежели объектом. Здесь - как и в случае с французским рабочим движением XIX в. - закон творит не его победа, но создаваемый им разрыв.

Я сам подробно разработал тезис, согласно которому, по крайней мере во Франции, теория Лакана о расщепленности субъекта и закате объекта может стать таким источником для формулировки марксистской теории политического субъекта*.

Все это - разрозненные и проблематичные наблюдения. Но ведь и совокупность, образуемая Гегелем, Рикардо и Июнем 1848 г.⁸, тоже вначале не составляла такой уж явной и непротиворечивой идентичности.

Несомненно, чтобы начать заново, следует продумать до конца завершение предыдущего цикла. Первоначальной задачей здесь является рассмотрение "окончания" этого цикла, т. е. действенная критика марксизма-ленинизма, процесс его деконструкции.

Осуществляя эту критику, представляющую собой политическую директиву - одновременно и теоретическую, и практи-

ческую, - мы возвращаем весь марксизм в ситуацию начала для инаугурации другой мысли о политике. Деконструкция марксизма-ленинизма проводит деструкцию марксизма в инстанции (нового) начала. Это расщепление есть жест, посредством которого мы вновь обретаем способность воспринимать само по себе - пусть даже ценой тревоги и опасности - то "имеется" реального, на котором можно основать совершенно новую практику политики.

Мы - наши собственные Эринии, хотя постоянно и отвергаем это. Что верно - то верно, кровь несмываема. Но ведь, скорее, именно антимарксист полагает, что он может отмыть от нее руки. Я же как "марксист" - но как марксист, себя таковым не провозглашающий - задаю вопрос: с помощью какого жеста политика вновь станет мобильной и избавится от сумрачной фикции политического, т. е. от политической экономии и марксизма-ленинизма? Если этот жест невозможен, если его нельзя отыскать, то решение, как в трагедии Софокла, произойдет под знаком немислимого. Если это так, то - при организованной и провозглашаемой уязвимости гипотезы об истинности политического пролетарского субъекта - марксизм, как в трагедии Эсхила, перенесет утверждающий раскол того закона, которым, к нашему несчастью, он стал.

2. РЕКОМПОЗИЦИЯ

I. Событие. Эмпирический путь

Парадокс нашего предприятия, от которого, как мы склонны считать, отступает *политическое*, заключается в следующем: определение сущности политики, не имея возможности опереться ни на структуру (из-за противоречивого характера множеств, их несвязанности), ни на смысл (в Истории такового нет), не имеет для себя другого ориентира, кроме события. Событийное "имеется", взятое наобум, как раз служит местом, куда вписывается сущность политики. Жесткость эссенциализации основана на шаткости происходящего.

Но событие не принадлежит к порядку реальности. Мысль здесь ориентируется на отличие события от его текущей имитации, которую можно назвать *фактом*. Современное снижение политической рефлексии до поверхностности журналистики происходит, прежде всего, от смешения события с фактом.

Сегодня нет ничего более существенного, нежели убрать из определения сущности политики "политическую" фактичность и особенно, привязанные к ней числовые соображения. Политика станет мыслимой, лишь будучи избавленной от тирании числа, будь то количество голосующих, демонстрантов или забастовщиков.

Сначала убедимся в том, что сегодня политики очень мало, что ее почти нет и что, как только она начинает кичиться какими-то числовыми показателями, она подступает к грани несуществования.

Обычным режимом того, что предьявляется в качестве политической рефлексии, как правило, являются комментарии к выборам. Но ведь ни комментарий, ни выборы не дают путей

доступа к сущности политики.

Комментарий есть немощный шепот, типичное свойство неактивной демократии, т. е. журналистики. Выборы, несомненно, представляют собой факт, некую реальность, и в этой связи являются достаточно важными. Однако же, как правило, их нельзя называть ни событием, ни реальностью политики. Если же они оказываются таковыми, то происходит это, если мне позволено будет сказать, независимо от них. И отношения, поддерживаемые реальностью электоральной с политическим реальным, надо диагностировать именно в этой точке невозможного, где от электорального подсчета ускользает то, что образует саму его числовую плотность.

Приведем пример: ясно, что на всех недавних выборах во Франции одна из важнейших субъективных ставок делалась в связи с наличием большого числа рабочих-иммигрантов в городах." Однако в этом представительстве невозможно разглядеть ту точку, в которой представительство касалось бы этого реального. В частности, все утверждения о "подъеме расизма", который непосредственно выразился в многочисленности голосов, полученных правыми и крайне правыми, не имеют никакого реального политического смысла. Доказательством тому будет то, что такие утверждения, как и все утверждения, говорящие о подъеме чего бы то ни было, могут только напугать. Но ведь испуг - не политическое чувство. Испуг - чувство комментаторское.

Чтобы понять то, что в конкретных обстоятельствах как раз затмевается подсчетом голосов, необходимо соотноситься не столько с фактом, сколько с событием.

Событие есть то, чего недостает фактам, и то, что задает этим фактам истинность.

Располагаем ли мы каким-нибудь событием такого порядка? Может ли политика выступать в качестве истины по отношению к "политической" фактичности? Выдвинем временную гипотезу: "факты" на заводе Тальбот™ выткали событие, забвение которого организовали выборы,⁹

Разумеется, то, что произошло на заводе Пуасси-Тальбот в

начале 1984 г., сегодня предано сплошному забвению как факт. В хронологии фактов, которая образует основу повествования в парламенте или профсоюзах, происшедшее нельзя считать решающей датой. Но один из аспектов различия между событием и фактом как раз и заключается в том, что они не соотносятся между собой на одной и той же шкале важности. Вполне возможно - как я уже говорил по отношению к Польше - что некое событие отсутствует в эксплицитной памяти, тогда как бесконечное множество его последствий незримо продолжает способствовать циркуляции его истинности.

Задача политики состоит еще и в том, чтобы вновь расставить акценты в хронике. Она перераспределяет здесь акценты, выделяет другие последовательности.

Я покажу, в каком смысле происшедшее на заводе Тальбот подвергло периодизации политическое время.

На первый взгляд, Тальбот - это всего лишь общенациональные "политические" факты в местной миниатюре. Что мы видим в качестве их последствия? Три элемента, характерные для наличных данных.

Первый элемент - правительственная политика реструктурирования промышленности. Эта политика, несомненно, представляет собой отрицание всего, благодаря чему социалистическая партия собрала голоса в 1981 г. Пропаганда последующих лет отрицала кризис капитала и афишировала уверенность в том, что с безработицей удастся справиться благодаря новому росту потребления. На афишах тихая деревня с дымящимися трубами символизировала то, что с кризисом можно справиться в тишине летнего вечера, с помощью спокойной республиканской культуры - удовлетворяя, таким образом, всех.

Тальбот выкристаллизовал в одной точке, в точке выбора убеждений, то ли лживость этого обещания, то ли полную ошибочность этой доктрины. Правительство оказалось "подвешенным" между двумя невозможными консенсусами: консенсусом его обещаний и консенсусом жестокости капитала, для которого, по оценке расхожего здравого смысла, наиболее пригодными оказались Тэтчер, Рейган и Ширак - не иначе, как из-за

чрезвычайной близости их идеологического развития.

Второй элемент ситуации на заводах Тальбот заключается в неспособности ВКТ¹⁰ справиться с ситуацией рабочих, с тех пор как эта ситуация стала определяться жесткостью реструктурирования, минимальными возможностями самоуправления, независимости позиции, рабочих-иммигрантов. ВКТ и ФКП оказались в этой ситуации "подвешенными" между одобрением увольнений с изгнанием иммигрантов, которое полностью обесценивало их деятельность в качестве профсоюзных посредников, и демагогией об исламе, которая избличала их как носителей продуктивного шовинизма и организаторов "хороших", т. е. французских, квалифицированных рабочих на заводах.

Наконец, третьим элементом стала способность банд КСП организовать против забастовщиков значительное количество наемных французских рабочих - под лозунгом "черномазых - в печь" - и тем самым развязать настоящую малую гражданскую и национальную войну в рамках заводского пространства.

И вот, три этих элемента напрямую прочитываются в электоральных числовых макроситуациях. Небольшое количество практических акторов (от 2000 до 3000) представляет собой метонимию миллионов голосующих.

Первый элемент прочитывается как непоследовательность социалистической партии, у которой нет независимых политических проектов и которая дрейфует между ориентацией на "культурное освобождение" и государственной функцией "отзываться" на потребности капитала. Отсюда и соответствующий спад на выборах в 1984 г.: с 30% до 20%.

Второй элемент прочитывается как исторический закат ФКП, которая, в отличие от итальянской компартии, вот уже на протяжении тридцати лет не может или не умеет ни сделать себя незаменимой для государственного и национального единства, ни управлять потоками общественного мнения, ни контролировать объективные и субъективные трансформации, происшедшие с рабочими на заводах - а способна лишь цепляться за парламентское представительство "рабочего движения", повсюду превращаемое конкретной историей в фикцию. Отсюда и

падения ее рейтинга до ничтожности показателей, достигаемых на выборах мелкими группками.

Третий элемент читается как увеличение способностей крайне правых - скорее петэнистского, нежели нацистского типа - заполнить пустоту идентичности, куда ввергли реакционное массовое сознание людей кризис, провинциализация Франции в мировом масштабе и значительное присутствие во Франции рабочих-иммигрантов. Отсюда и набранные Ле Пэном 11%, зиждящиеся на абстрактных речах о социальном удовлетворении Того же самого, на "французы - прежде всего", на "французы - это французы", на своего рода кафешантанной тавтологии, для которой арабы - это *no man's land*.

И все-таки приходится утверждать, что изоморфизм события и реальности, микроуровня и макроуровня, политически интерпретируемый как "событийность события", срабатывает не здесь.

Поговорим сначала о той субъективной победе, что не предали огласке. На заводах Тальбот победу одержали банды КСП. Они одержали победу не над рабочими, а над левым правительством. На самом деле, как только последнее в качестве урока этих событий вынесло политику, обозначенную им как "возвращение иммигрантов", оно тотчас же дало основание для реакционных суждений. А именно: иммигранты не должны больше быть представлены ни в обществе, ни на заводе, как нечто им интериорное, внутреннее - т. е. как рабочие, работающие там вот уже двадцать лет, - но должны быть представлены в своей национальной экстериорности, чуждости. Понимаемая скорее как настрой мысли, чем как практика государственного вспомоществования, политика возвращения иммигрантов на родину осуществляется как раз согласно доктрине крайне правых. Параметру формальной национальности положено безусловно преобладать над всем остальным, а в особенности - над рабочей реальностью, даже на заводе.

Между лозунгами "черномазых - в печь" и "иммигранты - домой, билеты - за мной" имеется существенная разница в интонации, но увы! - нет ни малейшей разницы в лежащих в их

основе политических принципах. Реакционная субъективность в равной степени подразумевается обоими суждениями. Следовательно, крайне правые на заводах Тальбот субъективно одержали победу над правительством. А ведь это предчувствие победы не прочитывается в результатах выборов, потому что комментарий противопоставляет расизм правых антирасизму левых - как если бы один по очкам одерживал победу над другим - как нечто само собой разумеющееся. Истиной же является то, что отношения, установившиеся во время событий на заводе Тальбот между действиями крайне правых и новой политикой левых, на взгляд рабочих-иммигрантов, были отношениями не фронтальной оппозиции, но коммуникационного переплетения. Переплетения, из-за которого между высказываниями, располагающимися в формально разъединенных или противоположных точках, циркулировала основополагающая идентичность. И как раз это переплетение невозможно разглядеть при электроном подсчете, хотя оно цементирует электоральный подсчет, поскольку крайне правые, очевидно, проникаются в парламенте верой в то, что их дискурс перестает восприниматься в качестве экстремистского или нетипичного - из-за того, что этот дискурс, хотя и будучи нераспознанным, циркулирует, если можно так выразиться, сквозным образом.

Точку, в которой этот вывих поддается исправлению, обнаружить не так просто, как можно было бы полагать. Формальные декларации антирасизма тут ничему не помогают. Надо еще взглянуть в факты, из которых складывается событие.

Осевым высказыванием рабочего сопротивления на занятом рабочими заводе Тальбот было: "Мы хотим наших прав". Ясно, что это высказывание - высказывание о праве рабочего как таковом, подчеркиваю: и уволенного и иммигранта - совершенно не отражается в электоральных подсчетах. А между тем, оно является четвертым *термом* ситуации на Тальботе и, к тому же, единственным, который был способен перестроить ситуацию, превратив ее в событие.

Сегодня некоторые полагают, что если высказывание рабочих-иммигрантов остается за пределами парламентского поля,

то это просто потому, что у них нет права голоса.

Но ведь это точка, где политическая мысль отказывается от собственного императива, повинувшись предписанию числа.

Что касается меня, то я твердый сторонник предоставления права голоса иммигрантам. Вот уже двенадцать лет я являюсь таковым и в поступках, и в выступлениях: после первых голодовок "рабочих без документов", состоявшихся в 1972 г.

Но я не могу представить себе возможность того, чтобы сфера представительства и количества оказалась способной квалифицировать в порядке политики событие, о котором говорю.

Наоборот, я считаю, что высказыванию рабочих с завода Тальбот - в том виде, как оно имело место раз и навсегда, - этому высказыванию, которое касается права, внутренне присуща непредставимость (*irrepresentabilite*). И в этой-то непредставимости как раз и состоит политика этого высказывания.

Сформулируем то же самое иначе. Фигура политики, вводимая как парламентским делегированием на Западе, так и деспотическим бюрократизмом Востока, есть программное выражение сил. Корнем здесь является то, что интересы или идеалы групп проецируются через состав правительства в осуществлении программ и планов. На Западе, как и на Востоке, природа этих программ и планов, прежде всего, относится к сфере экономики. Деспотическая бюрократия лишь полагает свою способность выразить национальную программу, если можно так сказать, через одного-единственного выразителя - под прикрытием, впрочем, чисто декоративным и абстрактным, легитимности рабочей диктатуры. Речь здесь идет о своего рода светской религии, где культ одерживает верх над верой, как то было в Римской империи. Парламентаризм, со своей стороны, организует видимость конфликта программ на общепризнанной почве конвергенции потребностей. Во всех этих случаях политическое сознание соотносится с тем, что делегируется выразителям некоей системы абстрактных положений, практически осуществляемых в государстве.

В высказывании рабочих о правах закон политического сознания совершенно иной, поскольку он состоит как раз в отсут-

ствии всякой программной или исчисляемой фигуры, которую бы он образовывал. Как хором говорят правительство и профсоюзы, права, о которых сейчас идет речь, не существуют. Да и сами марокканские рабочие, заявляя требования об этих правах, тем самым свидетельствуют, в перспективе фактов, что они, работающие во Франции уже двадцать лет, как раз никаких прав не имеют.

Сознание здесь индуцируется благодаря событию, сквозь которое заявляет о себе право без права, т. е., заимствуя выражение у Маркса и Лиотара, *абсолютная несправедливость*, неправота и только", творимая по отношению к этим людям.

Эту несправедливость никак не представишь в парламенте, и никакая программа не сможет предложить компенсацию. Политика начинается тогда, когда мы предлагаем не представлять жертв - проект, оставлявший старое марксистское учение в плену его же схемы выражения, - но сохранять верность событиям, в которых жертвы высказываются о себе сами. Носителем этой верности служит не что иное, как решение. И это решение, которое ничего никому не обещает, в свою очередь, связывается лишь с гипотезой. Речь идет о гипотезе политики "не-господствования", основателем которой был Маркс и которую сегодня надо пере-основать заново.

С этой точки зрения, политической ангажированности свойственна та же универсальность рефлексии, что и суждению вкуса для Канта. Политическая ангажированность не выводится ни из какого доказательства, а кроме того, она не является следствием императива. Она не выводится и не предписывается. Ангажированность *аксиоматична*.

Q. Дефиниции и аксиомы

Наша цель состоит в том, чтобы выделить непрограммную сущность политики, а также помыслить то, что я назову *вмешивающейся верностью*.

На некоторое время я позаимствую стиль изложения у Спинозы.

Я называю *предполитической ситуацией* комплекс фактов и идей, в котором оказываются коллективно задействованными рабочие и народные сингулярности и в котором различим крах режима Единицы. То есть, когда положение "существует некая Двоица", нередуцируемо. Или же - это точка непредставимого. Или - пустое множество.

Я называю *структурой* ситуации существующий механизм "счета за единицу", квалифицирующего ситуацию как именно *эту* ситуацию в сфере представимого.

Я называю *событием*, то, что при режиме Единицы квалификация оставляет в остатке, следовательно - нарушение функционирования этого режима. Событие не дано нам, поскольку определяющим для всякой данности является режим Единицы. Так что событие является продуктом некоей интерпретации.

Я называю *вмешательством*, "сверхштатные" высказывания и факты, сквозь которые осуществляется интерпретация, выделяющая событие, а именно событие того, что "имеется некая Двоица", раскола.

Я называю *политикой* то, что придает режиму вмешательства связность (*consistance*) события и распространяет событие за пределы предполитической ситуации. Это распространение никогда не бывает повторением. Оно является результатом действия субъекта, некоей связностью.

Я называю *верностью* политическую организацию, т. е. коллективный продукт событийной связности за пределами непосредственной сферы события.

Тальбот представляет собой предполитическую ситуацию - в том отношении, что не удастся квалифицировать ситуацию как профсоюзную забастовку против увольнений. При такой квалификации высказывание рабочих-иммигрантов об их правах не может быть включенным в подсчет голосов, да оно и не было туда включено. Параметры, какими являются действия КСП и драки, инертность ВКТ, капитуляция ФДКП¹¹ и прибытие РСБ, правительственное подведение итогов кампании по

возвращению иммигрантов - все это образует связанное множество, легитимированное глобальной ситуацией, множество, которое можно представить как Единицу. Эти параметры способствуют "счету-за-единицу", благодаря которому возникает структура. Рабочие-иммигранты же - как сознание в действии - являются пустым множеством этой Единицы. Значит, они не поддаются точному подсчету.

Пустота - это всегда точка, пристегиваемая к реальности, в которой полнота представительства показывает себя попросту как один из термов некоей Двоицы.

Событие здесь - высказывание о праве без права. Оно производится посредством интерпретации неадекватных программных форм, в которых оно действует. Индекс неадекватности этих форм представляет собой неустойчивое множество: одни говорят: "Нам нужно двадцать миллионов", другие - "Нам нужна компенсация за социальные взносы", третья - "Нам нужна месячная зарплата за каждый год выслуги лет" и т. д. Интерпретация производит такое событие: в предполитической ситуации прозвучало высказывание о том, что невозможно обращаться с рабочими как с залежалым товаром. Это невозможное в данных обстоятельствах есть как раз реальность, а следовательно, возможность. Возможность невозможного и есть основа политики. Она мощно противостоит всему, чему нас сегодня учат, а учат нас тому, что политика есть управление необходимым. Политика начинается с того же самого жеста, каким Руссо устанавливает основание неравенства: с отстранения любых фактов.

Чтобы свершилось событие, важно отстраниться от любых фактов.

Вмешательство наделяет связностью событие, которое оно интерпретирует, распространяя его как изложение суждения, рефлексивного изложение событий. Тем самым вмешательство организует верность событию. Организация есть некая материальность рефлексивного суждения.

III. Опровержение идеализма

В своем определении предполитической ситуации я настаиваю на том, что речь идет о "рабочих и народных сингулярностях". Это предписание является аксиоматическим, т. е. всеобщим. Я имею в виду, что оно затрагивает сущность ситуаций, а не то или иное конкретное обстоятельство, куда могут быть вовлечены молодежь, интеллектуалы и т. д. Что же касается сущностной детерминации политики, т. е. говоря стратегически, я совершенно не допускаю, что политика может развиваться без субъективного вовлечения в нее рабочих, жителей рабочих поселков, иммигрантов, крестьян и т. д.

Однако здесь мне могут предъявить решительное возражение. Какой толк - скажут мне - разрушать марксизм в его субстанциальной историзации (я имею в виду - той, которая субстанциализирует пролетариат) и сводить его к гипотезе какой-то политики не-господствования, если вы вновь вводите эмпирического рабочего *in extremis*? Мы прекрасно видим - продолжит возражающий, - что идею родового и освобождающего рабочего бытия, словом, идею пролетариата, вы подменяете необоснованной и чисто субъективной гипотезой, когда речь идет о том, чтобы рассматривать ее последствия, а не верифицировать непосредственные результаты. Тем самым вы разорвали экспрессивную связь между политическим и социальным. Вы упразднили Жест пролетариата в пользу какой-то аксиоматики политического процесса. Так идите же до конца! Устраните в аксиоматике еще и условие рабочего или народного параметра ситуаций. Ведь у вас тут всего-навсего ситуационный призрак погибшего пролетариата.

Это возражение отчасти напоминает возражение Гегеля, обращенное к Канту: зачем сохранять "абсурдную вещь в себе"? Если Субъект формирует опыт, то пойдем до конца, т. е. будем считать Субъектом сам Абсолют. Никакой непредставимый "потусторонний мир" (*argiere monde*) сохраняться не должен.

Аналогично этому, если единственным условием процесса освободительной политики служит открытость точке события,

то процесс этот не подчиняется никаким предикативным условиям в том, что касается конкретных ситуаций. "Рабочий" и "народный" - следы старого социального субстанциализма, притязавшего на выведение политики из классовой организации общества.

Кант же в "Критике чистого разума" предвосхитил упомянутое возражение в разделе, озаглавленном "Опровержение идеализма". Он установил, что сознание не способно оперировать как представление не представляя что-либо. Иначе говоря, бытие как таковое должно находиться в тупике представления, которое представление представляет. Выделение вещи в себе на самом деле является прекращением субъективного конституирования опыта, а не выходом на его границу (*passage a la limite*), как то считает Гегель. Ибо опыт может быть Субъектом, лишь будучи (топологически) связанным с тем реальным, которого в нем нет. Гегель полагал, что выявил непоследовательность у Канта, но на самом деле это он сам непоследовательно рассмотрел Кантово учение о субъекте.

Я пытаюсь здесь опровергнуть абсолютный политический идеализм, который можно было бы вывести из "максималистской" интерпретации моей аксиоматики и который состоит в том, чтобы держаться политики вмешательства, без того, чтобы при этом давать квалификацию ("рабочую" или "народную") месту события, для которого вмешательство всегда является "сверхштатным".

Здесь я рассуждаю - подобно Кашу - "от абсурда". Если бы нам удалось напрямую установить, что предполитическими ситуациями являются ситуации рабочих движений, мы фактически восстановили бы предположение о субстанциальности, отвергнутое нашим же жестом переобоснования. Если нет пролетариата - в смысле политического субъекта, чьей внешней приметой является сам вид его социального бытия, - то мы не можем уповать и на то, чтобы путем конструктивных доводов доказать, что все важные политические ситуации всегда являются рабочими. Единственный наш шанс заключается в том, чтобы попробовать доказать, что (стратегически) было бы *невозможно не рассматривать* ра-

бочую и народную квалификацию конкретных ситуаций.

Теорема. Политическое вмешательство в злободневные ситуации, т. е. современная политика, не может стратегически уклоняться от сохранения верности событиям, место которых является рабочим или народным.

Предположим, что политическое вмешательство может избежать вышесказанного. Поскольку наша аксиоматическая гипотеза относится к политике освобождения, а стало быть, к политике негосударственной и ориентированной на "негосподствование", в результате окажется, что эта политика могла бы развиваться, не включая в свое непосредственное поле те места, где - в современных условиях - материально существует масса подвластных (каким бы ни было соответствующее количество), а именно, заводы, предместья, клубы иммигрантов или информатизированные бюро повторного трудоустройства. В частности, если речь зашла о заводах, то их исключительность оказалась бы просто радикальна - так как можно было бы без труда установить, что заводы жестко отделены от гражданского общества и от тех сдерживающих законов, что управляют социальными отношениями в гражданской сфере.

Если принять указанное предположение, то политика негосподствования существовала бы для самих подвластных разве что в форме представительства, поскольку ни одно событие, дающее место вмешательству, не включало бы их в себя, как свое место. В частности, рабочие и народные высказывания не образовывали бы материи политического вмешательства.

Точнее говоря: стратегически удаленные от центра политики, от ее атомарной формы (вмешательства на основе события), *подвластные* могли бы формулировать свою заинтересованность в этой политике лишь в программных терминах, т. е. если бы им приходилось спланировать вокруг этой политики на единственном основании ее представимости как политики эгалитарной или политики негосподствования.

Но ведь сущность политики - в том, чтобы исключать представительство и отказываться от программного сознания как от своей разновидности. Сущность политики целиком и полно-

стью заключается в верности событию - в том виде, как эта верность материализуется в сети вмешательств.

Следовательно, невозможно, чтобы политика могла стратегически уклоняться от учета рабочего и народного характера ситуаций. Если бы политика действовала посредством этого уклонения, она была бы непоследовательной по отношению к собственной основополагающей аксиоме.

Королларий. Активная разновидность политики требует - в самой своей концепции - присутствия без всякого опосредования (в частности, без парламентского или профсоюзного опосредования) на больших площадках, заводах, в рабочих поселках и т. д. рабочего и народного события. Примечательно, что это требование выдвигается не в силу предположения о существовании "рабочего класса" или какого-то "народа", но, наоборот, благодаря исчезновению каких бы то ни было предположений такого рода. И на самом деле - если у вас есть "партия рабочего класса", то у вас уже есть посредничество, и вы не чувствуете себя обязанными инициировать без посредничества политику на заводах, в рабочих поселках и т. д. Между тем никто не требует от интеллектуалов из ФКП направить туда стопы. Напротив, сегодня политика либо не существует (капитализм фактически приветствует это), либо она призывает своих деятелей, т. е. в нынешней ситуации - большинство интеллектуалов, в места, образующие ее событийную сущность. Тем самым активная разновидность политики оказывается оторванной от своего исполнительского или объединительного статуса. Она является имманентным концептом политической жизни как таковой. Это неумолимо выводится из непрограммной сущности политики. Кто не *"делает"* политики, того в ней *"нет"*.

IV. Генеалогия диалектики

Сегодня стало расхожей темой, что политику можно вновь вывести на уровень мысли, лишь покончив с умозрительной философией, с диалектикой.

Проблема здесь в том, чтобы договориться по поводу понятия *диалектика*.^{>x}

Я утверждаю, что концепты события, структуры, вмешательства и верности являются концептами диалектики, если, конечно, не сводить диалектику к плоскому - неадекватному уже для Гегеля - образу тотализации и обработки негативного. Диалектичность диалектики состоит как раз в том, чтобы иметь ее концептуальную историю и раздробить гегелевскую матрицу до той точки, где в своем бытии она подтвердила бы себя как учение о событии, а не как регулируемое приключение духа. Это скорее политика, нежели история.

Там, где мы будем умело пользоваться диалектической мыслью, мы сумеем восстановить и ее генеалогию. С другими концептами и другими предшественниками. Если мы захотим прояснить аксиоматику, с которой начинается политика, нам придется рассмотреть, например, тех, кого я называю четырьмя французскими диалектиками: Паскаля, Руссо, Малларме и Лакана.

Какую важность имеет этот вопрос [о диалектике]? Значительную, коль скоро речь идет о том, чтобы записать новое основание всякой политики на очищенном философском горизонте. Очищенном от чего? От механистического и сциентистского подхода, на котором остановился марксизм после его распространения во Франции усилиями Лафарга и Геда. Всякая активная мысль должна реализовать свой национальный девиз. Французский марксизм хотел быть наследником эпохи Просвещения, антиклерикальных боев, прогресса науки. Намеренно или вслепую - он считал, что христианская диалектика представляет собой по отношению к нему полюс враждебности. Он способствовал обмирщению и провинциализации революционного идеала.

Каждый раз, когда хотели избавиться от этого "прозаического" образа, французскому марксизму попросту впрыскивали небольшую дозу гегелевского трагизма. Или усиливали акцент на материалистических референтах (имея в виду, скорее, Спинозу и Лукреция, чем Гельвеция и Дидро). Но репрезентативное ядро марксизма и его центр тяжести не сдвигались, остава-

ясь позитивистской теорией производственных отношений и классовой организацией общества. Правда, на заднем плане этой репрезентации располагались национальные черты рабочего движения: синдикализм, логика борьбы, приоритет программы.

Пользуясь тем, что старое рабочее движение мертво, надо покончить и со старым марксизмом.

Я предлагаю - одним и тем же жестом - закрыть целый цикл существования политики и открыть новый, иной филиации. У всякого рождения имеется генеалогия.

Сегодня понятно, что речь идет о том, чтобы покончить с представительской концепцией политики. Каноническое высказывание Ленина, согласно которому общество разделено на классы, а классы представлены через политические партии, устарело. По своей сути это высказывание сродни парламентской политике. Ведь ключевым вопросом и в ленинском высказывании, и в парламентской политике является представительство социального в политике. В этом смысле политика есть "концентрированное выражение экономики", о чем говорит и Ленин. Эти предполагаемые представительство и концентрация суть точки, исходя из которых следует мыслить существование партий и измерять место политики. Застывая в виде такой фигуры марксизм обречен.

Диалектическая мысль опознаваема, прежде всего, по ее конфликту с представительством. Диалектическая мысль вводит в свое поле ту непредставимую точку, из которой подтверждается, что мы прикоснулись к реальности.

Руссо, например, не допускал политического представительства самым радикальным образом. Народ, абсолютное основание суверенитета, не может делегировать суверенитет никому, даже самому себе, - и в этом Руссо не анархист. Если понимать народ как чисто политическую способность, то он *непредставим*. Руссо абсолютно враждебен парламентаризму.

С точки зрения Малларме, поэзия не в силах выразить ни поэта, ни мир. Поэт должен отсутствовать в произведении, как если бы оно имело место без него. Что же касается мира, то Малларме выразительно сказал, что мы ничего к нему не при-

бавим. Значит, в поэме должен осуществляться некий сингулярный процесс, который выделяет собственную сущность, но не изображает ее. В этой сущности нет вещей.

Для Паскаля Бог непредставим в философии¹². Ничто в мире не подводит к нему. На взгляд Паскаля, мир так же нетранзитивен по отношению к Богу, как, на мой взгляд, социальное нетранзитивно по отношению к политике. Подобно тому, как социальные совокупности становятся противоречивыми в политике, так и - с точки зрения Паскаля - "двойная бесконечность" Мира не вычерчивает такого целого, откуда можно было бы вывести Бога. Субъективное отношение к Богу относится к алеаторике пари (точно так же можно держать пари на коммунистическую политику: вы никогда не выведете ее из "Капитала").

Наконец, по мнению Лакана, ничто не представляет Субъект. Лакан настаивает на том, что если желание и артикулируется (в означающем), оно тем самым не становится артикулируемым. Правда, у него есть формула: "Означающее представляет субъект для другого означающего". Но в этой формуле подразумевается как раз то, что никакое конкретное означающее субъекта не представляет, и потому субъект вынужден выпадать в некий промежуток (*dans l'entre-deux*) в языковой цепи.

Во всех этих случаях - а в каждом из них речь идет о месте, где учреждается некое следствие субъекта, Бога, Народа, Поэмы, Желания - законом концепта является закон процедуры нерепрезентативности. Так и для меня: политика ни в коей мере не представляет ни пролетариат, ни класс, ни Nation. Хотя то, что образует субъект в политике, подтверждает свое существование в самих политических результатах, эта субъектообразующая сущность остается в политике не артикулируемой.

Речь идет не о том, что нечто существующее может быть представленным. Речь идет о том, посредством чего нечто существует так, что ничто его не представляет: оно просто-напросто предъявляет свое существование. Паскаль питает отвращение к (картезианской или томистской) идее "доказательств существования Бога". Для Руссо народ никоим образом не предсуществует Договору, посредством которого он складывается в

качестве политической способности. Малларме хочет написать поэму, которая отражалась бы в самой себе, не будучи объяснимой через что бы то ни было внешнее. О лакановском субъекте нельзя сказать даже того, что он существует. Существует, скорее, реальное. И мне, например, не слишком по душе искать доказательства существования пролетариата. Достаточно уже и риска, связанного с проведением гетерогенной, разнородной, политики, без гарантий какой-либо дедукции.

Если существует некая точка непредставимого, то мысль не может упорядочиваться через отражение реальностей. Она с необходимостью должна образовывать разрыв, чтобы привести в движение процедуру экспликации, у которой нет внешнего референта. Мысль, не образующая представлений, производит результаты, прерывая цепь представлений. Значит, всякая диалектическая мысль есть, прежде всего, интерпретация-разрыв. Она обозначает некий симптом, благодаря которому можно сформулировать некую (гипотетическую) интерпретацию последствий этой мысли. То же касается Маркса, который в "Манифесте", на основе тех событий-симптомов, какими являлись восстания рабочих в начале XIX в., формулирует гипотезу политической способности пролетариев - а именно, политики, не являющейся политикой репрезентации, представления.

Диалектическую мысль мы узнаем по ее интерпретативному методу. Она всегда начинается с отбрасывания представлений. Наследующий Фрейду лакановский метод состоит в отвержении сознательных представлений как проводников для исследования субъекта и в продвижении околным путем по меткам заблуждений: оговорок, сновидений, ошибочных действий... Паскаль приступает к своей педагогике, объявляя кризис самооценки человека и указывая на абсолютную его расщепленность: человек представляет собой полное ничтожество (ничтожная частица мироздания, притулившаяся между лишенным смысла бесконечно большим и бесконечно малым), но ему присуще несравненное величие (мысль, сама размышляющая о своем ничтожестве). Исходя из этого, интерпретивное прерывание выдвигает гипотезу спасения через благодать, соразмер-

ную лишь бездне расщепленности. А вот Малларме исследует разделенность языка. С одной стороны, у него имеется функция коммуникации, обмена, та, которую сам Малларме называет монетарной; с другой же стороны - то, что возвещается в системе поэмы и по отношению к чему Малларме формулирует радикальную гипотезу: способность языка выявлять сущность вещи на фоне небытия.

Во всех этих случаях разрыв с представлениями встраивается в "родовую" (*generique*) гипотезу, касающуюся существования некоей процедуры, где истина циркулирует, не будучи представленной.¹³ Это гипотеза способности к истинному: политической способности пролетариата (Маркс), способности к суверенитету народа (Руссо), способности к воссоединяющему спасению (Паскаль), способности к абсолютной Книге (Малларме), способности к истине субъекта (Лакан). И эта гипотеза ретроспективно - в месте начального симптома, в котором мысль производит разрыв (восстание, поэму, свободу, расщепленность в бездне, преступление означющего) - учреждает субъект, для которого такая способность равнозначна самому процессу существования: пролетариат, толпа, народ, христианин, бессознательное.

Следовательно, диалектическая мысль делает *пробоину* в диспозитиве знания (представлений), при наличии симптоматической *опоры*, которую она *интерпретирует* в режиме *гипотезы о способности* - гипотезы, где *субъект* высказывает себя задним числом.

Полноту этого метода мы - помимо Маркса и Фрейда, задающих режим всей современности - находим во Франции только у Паскаля, Руссо, Малларме и Лакана.

Заметьте, что все четверо являются исключительными мастерами языка и принадлежат числу величайших из наших художников. Дело здесь в том, что во Франции, где философский компонент никогда не обладал немецкой бесспорностью, искусство в одиночку обеспечивает то состояние неразрешимости, в котором субъект артикулирует себя по отношению к событию.

И действительно, подумаем о том, что если диалектическая мысль находится в разрыве с порядком представлений, то у нее никогда не будет иной гарантии реальности, кроме ее собственного опыта. Опора, которая способствует прорыву в нем, и есть сингулярное событие.

Диалектическая мысль начинается не с правила, но с исключения. И новый теоретический закон, в котором артикулируется это исключение, может принимать - в том, что касается существования субъекта - лишь форму пари. Это пари имеет длительную историю эксплицирования гипотез. Руссо весьма охотно признает, что, без всякого сомнения, ни одно реальное общество не "держится" на договоре, посредством которого народ учреждает себя и собственную политическую способность. Книга Малларме так и не была написана. Согласно Паскалю, невозможно решить наверняка, кто именно спасется, так как количество избранных является неопределенным, а может быть и вовсе равным нулю. Истина же субъекта находится в подвешенном состоянии из-за того, что полное психоаналитическое лечение должно быть бесконечным. И кроме того, мы прекрасно знаем, чего стоит "реальный" социализм.

Но эта неразрешимость субъекта гипотезы является расплатой за его непредставимость. Эта непредставимость сопряжена с принципом истины. Чтобы эксплицировать такой принцип и отразить начальное событие, средства искусства не будут лишними. Ни для религии, ни, разумеется, для поэзии, ни для психоаналитика, ни для Законодателя у Руссо. Не будут они лишними и для политики - ведь она, без сомнения, скорее искусство, нежели наука.

V. Формализмы, I

Запрещенное/Невозможное

Со всею смелостью, к которой меня обязывают такие предшественники, я перехожу к формальным опосредованиям.

Начинающему с нуля необходимо заручиться поддержкой простейших абстракций.

Для модели, которой я собираюсь пользоваться, характерно чрезвычайное немногословие. Она служит тому, чтобы установавить тупики концептуализации представимого. Ее значимость аналогична той, которую Лиотар приписывает корпусу анекдотов о софистике и скептицизме, или Лакан - своим притчам, например, притче о трех заключенных¹⁴: предъявить трудности бытия в том же порядке, в каком функцией поразительных логических забав является как раз держать реальность на дистанции.

Корпус моих формализмов был собран под влиянием книги Раймонда Смутьяна: "Каково заглавие этой книги?"⁵¹, так что тот, кто спрашивает, каково заглавие этой книги, получает зеркальный ответ: каково заглавие этой книги? Аналогично этому, спрашивающему, какова наша политика, мы можем ответить, что речь идет о его сопричастности вопросу: "Какова наша политика?"

Здесь я предполагаю вселенную, где только и существуют, что пропозиции, интуитивно квалифицируемые как истинные или ложные. В этом мире создатели пропозиций вынуждены подчиняться фиксированным законам, которые распределяют их на два класса: тех, кто может производить только истинные пропозиции, и тех, кто может производить только ложные пропозиции. Впоследствии мы сюда добавим еще и тех, кто может равно производить и ложные, и истинные высказывания - тем самым мы добавляем нас самих к этой первоначальной вселенной.

Относясь с крайним почтением к гегемоническому характеру государственного сознания у нас и напоминая о том, чему я издавна храню верность, я назову "левыми" класс тех, кто всегда говорит правду, а "правыми" - класс систематических лжецов. Это отличит нас от знаменитого критского лжеца, которого мы, разумеется, вновь увидим проходящим по сцене справа налево.

Заметим, что в том, что касается истинного и ложного, пропозиция получает соответствующую квалификацию благодаря самому факту местонахождения - справа или слева - ее автора. Значит, существует некое изначальное смешение между высказанным и высказыванием, потому что определение места выс-

казывания позволяет мне сразу же квалифицировать высказанное. Мы имеем здесь топологию истины, состоящую в том, что истина определима через место. Ее судьба связана с ориентацией некоего пространства. Мы увидим, что она связана и с ориентацией времени.

Ключ к этому диспозитиву состоит в том, что, по меньшей мере, одна пропозиция в нем не произносима - недопустимо само ее высказывание. Речь идет об автореферентном высказывании, о варианте высказывания критянина: "Я прав". Впрочем, это правило существует и в реальности; это правило парламентской вежливости, когда никто не говорит: "Я от правых". Правые партии - всегда во втором лице: "ты - от правых" - расхожая фраза. "Я - от правых" никогда не является высказыванием правых, которые отрицают, что это высказывание имеет какой-то смысл. Это высказывание характерно только для крайне правых, в чем последние показывают, что они не вполне принадлежат к семейству правых. Но, увы! в нашу эпоху крайне правые объединились с правыми.

В моей модели фраза "я от правых" не может быть произнесена тем правым, который, всегда говоря ложь, не может высказать свою истину. Как и тем левым, который, говоря правду, вынужден признаться, что он - от левых. Следовательно, согласно закону места, это высказывание неосуществимо. Иными словами - оно находится в положении обобщенного (general) реального: непротиворечивость места банализованно выводится из того, что общей чертой правых и левых является то, что ни те, ни другие не могут высказать свое "бытие-правым" (*etre-en-droite*), каковое, разумеется, действительно является политическим бытием и правых, и левых.

Но существует это реальное только структурно. Таков недостаток, присущий всем возможным высказываниям. И он не имеет ничего общего ни с какой ситуацией, поскольку всякая ситуация, т. е. всякий комплекс пропозиций, реализует возможность, которая дается уже при условии этого недостатка. Я полагаю, что такой структурный недостаток является *запретом* на место (*interdit du lieu*). Запрет в том смысле, что неосу-

ствимое ни при какой ситуации не может являться политической категорией. Это категория самого бытия Закона. Тем самым я также полагаю, что если классическое понятие *преступания запрета* и имеет какое-то эротическое свойство, то никакого политического достоинства у него нет.

Когда крайне правый политик называет себя "правым", он скорее исходит из соображений личного удовольствия, чем действительного успеха на политической сцене. К несчастью, он говорит и массу других вещей.

Запрету я противопоставляю историчность *невозможного*.

Рассмотрим следующие пропозиции, где всё в той же нашей топологии правого/левого задействуются два человека, скажем, А и В. Пропозиция 1 звучит: "В - прав(ый)". Пропозиция 2: "А - левый". Взятые сами по себе, эти пропозиции могут быть произнесены кем угодно, за исключением, разумеется, того, что первую не может произнести сам В, так как никто не может объявить себя правым. Но, в общем, эти пропозиции совершенно не запрещены. В частности, А вполне может сказать, что В правый, а В может сказать, что А левый. Здесь достаточно, чтобы истинность и ложность этих утверждений соответствовали классу собеседников. Так, будь В левым - ведь он говорит правду, - а А тоже левым, то высказывание В о том, что А - левый, будет соответствовать, являясь истинным, месту своего высказывания.

Проблема заключается в том, что событие выходит здесь на сцену в собственной ему функции оневозможивания. Если А говорит, что "В - правый", он делает навсегда невозможным утверждение В о том, что "А - левый", и это независимо от того, кем являются А и В на самом деле, левыми или правыми. Ни пропозиция 1, ни пропозиция 2 не запрещены структурно. Но то, что А высказывает 1, делает невозможным высказывание 2 со стороны В.

Итак, если А говорит, что "В правый", то существуют две возможности:

-А - левый, он говорит правду, а значит, В - правый. Следовательно, В говорит ложь, стало быть, он не может сказать, что "А - левый", потому что это правда.

- А - правый, он говорит ложь, стало быть, В - левый (а не правый, как заявляет А). Следовательно, В говорит правду и не может сказать, что А - "левый", поскольку А - правый.

Следовательно, как только кто-нибудь произносит высказывание, согласно которому некто является правым, этот некто становится не в состоянии провозгласить, что тот, кто его таким образом квалифицировал, является левым. Однако же, это было бы возможным, если бы первой не была бы высказана пропозиция 1. На сей раз невозможность пропозиции 2, в отличие от невозможности пропозиции "я правый", не объясняется структурным запретом, а выводится из поддающегося констатации факта, из фактического произнесения пропозиции 1.

Именно в этом смысле я говорю, что речь идет об исторической невозможности, а не о запрете на место. Заметьте также, что запрет обращен ко всем, тогда как наше невозможное - к одному-единственному, к тому, кто был квалифицирован в качестве правого. "Невозможное" есть категория субъекта, а не места; события, а не структуры. Эта категория есть бытие для политики.

Чтобы высказать запрещенное, нужно просто и безоговорочно подорвать сам закон места. Но чтобы высказать то, что исторически является для вас невозможным, нужно попросту отбросить факт. Пропозиция 2 вновь становится допустимой, если индивид В ведет себя так, *как если бы* индивид А не произнес пропозиции 1.

Запрет, для своего преодоления, требует тотального разрушения. Для невозможного достаточно своего рода глухоты. Мое событие складывается в своего рода недопонимании того, что имело место прежде него и что расценивается как его оневозможивание.

Тем самым высказывание о своих правах рабочими на заводе Тальбот не является моментальным и структурным подрывом порядка. Ему вполне достаточно просто не расслышать того, что его оневозможивает, т. е. сказанного всем обществом: что рабочий-иммигрант является лишь импортным товаром, а значит, - не имеет писаного права на поддержку и на признаваем-

мую идентичность. Поскольку высказывание о праве без права - по своей внутренней сути - возможно, а невозможным оно является только из-за высказывания, ему предшествовавшего, оно может прозвучать на фоне отмены предшествовавших фактов и не требует упразднения закона.

Стало быть, исторически заданная сущность невозможного состоит в том, чтобы оставаться глухим к голосу времени. Тогда создается предполитическая ситуация, принципом которой, как мы видим, является прерывание. Прерывание обычного социального выслушивания, отбрасывание фактов... Потому-то и прибывает полиция, которая всегда является полицией фактов, полицией против глухих. "Вы что, глухие?" - спрашивает легавый. И он прав. Ведь полиция всегда занимается не чем иным, как доведением, на максимально громком шумовом уровне, уже установленных фактов до сведения всех тех, о ком, эти факты говорят - ведь исторически невозможно, чтобы все они были туги на ухо.

Следовательно, мы постулируем, что политическая разметка предполитической ситуации требует, чтобы мы руководствовались постижением того, что в ней прерывается. Ведь выход в точку невозможного возможен лишь такой ценой.

Сегодня подняли большой шум вокруг коммуникации. Между тем, ясно, что именно не-коммуникация, творя возможность из невозможного, способствует циркуляции истины в политике.

VI. Формализмы, 2

Различающее вмешательство и вмешательство "на пари"

Каковы структуры и пути этой циркуляции?

Об этом нам поможет узнать одна небольшая история.

Допустим на сей раз, что - помимо существования левых, говорящих правду, и правых, говорящих ложь, - существует

некое место, упорядоченное вокруг центра, который состоит из людей, способных как к истинным, так и к ложным пропозициям.

Произошло политическое преступление. Полиция занялась расследованием. На основании материальных улик арестовано трое подозреваемых. Полиция - на этой стадии расследования - знает четыре вещи.

- Имеется только один виновный.
- Этот виновный не принадлежит к правой партии, у которой нет ни малейшего политического интереса финансировать преступление.

- Из троих подозреваемых один левый, другой правый, третий центрист, но беда в том, что полиция не знает, кто есть кто.

Так получилось (и это четвертый пункт), что трое подозреваемых отказались от каких-либо заявлений, кроме:

- Подозреваемый А заявил: "Я невиновен".
- Подозреваемый В заявил: "А действительно невиновен".
- Подозреваемый С заявил: "Это неправда. А виновен."

Ситуация со строго аналитической точки зрения определяется здесь четырьмя параметрами, вычерчивающими ее структуру.

Перед вами сам факт, преступление. А кроме того, ограничения, обусловленные стечением обстоятельств, всегда являющиеся гипотетическими. В данном случае: то, что правые не совершили преступление, или то, что трое подозреваемых представляют три партии. Перед вами пропозиции, референтом которых является факт - заявления подозреваемых. Эти пропозиции привязывают субъекта к факту - и в том, что касается самого факта (кто виновен?), и в том, что касается высказывания пропозиций, связанных с этим фактом. Наконец, имеется структурное, или логическое, ограничение - закон места, соотносимый с топологией истинного и его классами.

Расследовать факт исходя из пропозиций о факте и в рамках ограничений, обусловленных стечением обстоятельств, - таков способ анализа ситуации, еще без всякой политики. Речь идет о том, чтобы справиться с тем, что поддается решению, в вопросе,

с которым сам факт обращается к ситуации, то есть в вопросе, поставленном строгим анализом. Здесь мы работаем еще без вмешательства, т. е. без сверхштатного высказывания. Ситуация еще не является предполитической, она пока находится в хранилище фактов. Посмотрим, как работает интеллект дознавателя.

А говорит: "Я невиновен". Если бы он был правым, он говорил бы ложь. Значит, он был бы виновным. Но это не так, потому что одно из ограничений, обусловленных стечением обстоятельств, извещает нас, что правые не финансировали преступления.

Следовательно, А левый, или центрист.

Если он левый, так как он говорит, что невиновен, то он действительно невиновен: ведь согласно формальному ограничению, он обязательно говорит правду. В этом случае подозреваемый В, который говорит, что А невиновен, говорит правду. Стало быть, этот В - левый или центрист. Но он не левый, так как левый - А. Ведь от каждой партии может иметься только один представитель. Значит, В - центрист. Кроме того, при этой гипотезе В виновен, поскольку единственный другой возможный виновный, являющийся левым А, невиновен.

Отсюда непротиворечивая аналитическая гипотеза: А - левый, В - центрист и виновный, остается С, который неизбежно оказывается правым: все сходится.

К несчастью, есть и другие непротиворечивые гипотезы. Как мы уже сказали, А на самом деле может быть и не левым, но центристом. В таком случае, если В - правый, то, утверждая, что А невиновен, он лжет, а следовательно, А виновен. При этом С - левый, и все сходится. Гипотеза, согласно которой А - центрист и виновен, В - правый, а С - левый, функционирует, т. е. исчерпывающим образом использует данные и ограничения. Наконец, если по-прежнему предполагать, что А - центрист, возможен и вариант, когда В левый. Он говорит правду, объявляя невиновным А, но в то же время провозглашает собственную виновность, потому что виновный - если это не центрист - должен быть левым. И опять-таки, С - правый. Гипотеза, согласно которой А - центрист, В - левый и виновный, С - правый, подходит в равной степени.

Тем самым мы получаем таблицу, где представлено аналитическое знание ситуации (в означает виновность):

	1	2	∅
А	Л	Ц+в	Ц
В	Ц+в	П	Л+е
С	П	Л	П

Итак, у нас перед глазами максимум того, на что способен аналитический разум, наивысшая тонкость комментария без всякого вмешательства. Таковы пресловутые сценарии, на которые столь падки наши журналисты. К тому же, относительно ситуаций гораздо более сложных журналисты отнюдь не вкладывают столько дедуктивного труда, сколько требует даже эта скелетообразная ситуация! При исчерпывающем характере фактических и регламентарных данных мы наблюдаем соотношение между фактом и тремя гипотезами, когда событие, акт преступления, как и его локализация в высказывании (правый или центрист), остаются скрытыми в неразрешимости.

И вот, мы исчерпали ресурсы анализа, а именно, применив в этой таблице ситуационный счет-за-единицу, унификацию ситуации согласно правилу места.

Чтобы продвинуться дальше в интерпретации, требуется, чтобы мы ввели дополнительные высказывания. Субъективный эффект здесь в том, что ситуацию надо чем-нибудь дополнить только для того, чтобы, возможно, обнаружилось событие, которое она в себе содержит.

Субъект, т. е. политика, является промежутком между событием, которое надо прояснить, и событием проясняющим. Он - то, что одно событие представляет для другого события.

Здесь-то и задействуется логика вмешательства, являющаяся точкой дополнения, через какую истина, которая прежде была блокированной в ситуации, теперь начинает циркулировать в фигуре события.

И все-таки было бы неразумным воображать, будто вмешательство возможно без всякого ограничения, обусловленного

стечением обстоятельств и, особенно, без всякого принуждения со стороны длительности. Кто хоть немного занимался политикой, знает, до какой степени она находится под давлением срочности, имеющей отношение к конкретной ситуации. От характера этой срочности зависит и присутствие истины.

Скажем, что вмешивающийся, имеющий очень непродолжительный доступ к трем арестованным подозреваемым, в любом случае располагает очень малым временем на рассмотрение одной или - максимум - двух гипотез.

Зачастую политика заключается в том, что следует поставить хороший вопрос, способствующий разрыву ради высвобождения того, чья невозможная возможность продлилась в таблице и в единстве гипотезы. Такова сжатая эстетика вмешательства.

Здесь вмешательство вторгается в ситуацию, атакуя ту единственную косвенную несомненность, которую можно видеть на таблице: подозреваемый С не может быть виновным, Вмешательство осуществляется, на основе глупости полиции, которой - исходя из одного лишь аналитического уровня - следовало бы освободить С. Вмешательство тотчас же пользуется в ситуации этим симптомом глупости, спрашивая С - и это первый вопрос: "Вы виновны?" Вы ставите этот вопрос как раз потому, что благодаря одному лишь анализу знаете правильный ответ на него, и ответ этот "нет", потому что С невиновен. Итак, исходя из этого ответа, вы можете определить место высказывания вашего собеседника, т. е. узнать, правым или левым является С, потому что - и это тоже показано в таблице - он не может быть центристом.

Политический прием, который состоит в том, чтобы поставить собеседнику вопрос, "диктуемый" его собственным местом высказывания, является тем, что я называю *различающим вмешательством*.

Если С отвечает, что он невиновен, то дело полностью улаживается. Он говорит правду, следовательно, он левый, и подтверждается гипотеза 2.

Если же С отвечает, что он виновен, то он правый, и мы

остаемся с двумя гипотезами, 1 и 3.

Во всех этих случаях мы кое-что выигрываем в знании.

Во-первых, из-за того, что три гипотезы мы свели к двум. Но особенно из-за того, что вопрос о виновном - который всегда подстегивает аналитический разум - улаживается тотчас же: в гипотезах 1 и 3 единственный возможный виновный - В.

Вмешательство является различающим в том, что наш выигрыш можно с уверенностью вычислить заранее. Либо ответ С решает вопрос, если это "да", либо же, если ответ "нет", то он сокращает количество непротиворечивых гипотез с трех до двух и определяет виновного.

Но как раз вмешательство - будучи атомом политики - не может удовлетвориться названием виновного. Локализация последнего (левая или центристская) для политики гораздо важнее, поскольку она связана с высказыванием - с субъектом, - а не только с объективным фактом. Но ведь подвешенное состояние гипотез 1 и 3 не решает этого вопроса. Если имеет место подвешенное состояние (С ответил "да"), то срочность умножается, поскольку вмешивающийся должен одним ударом разорубить гордиев узел из двух остающихся гипотез.

Тогда политическое искусство требует следующего: спросить у А, виновен ли С. И здесь опять-таки уверенность (С - невиновен) гарантирует нам выбор между гипотезой 1 и гипотезой 3. Ведь если А отвечает "да", и это неправильно, то гипотеза 3 основана на способности ко лжи (напомню, что гипотеза 2 вышла из игры, поскольку, если она была бы хороша, первый вопрос вмешивающегося подтвердил бы нам это).

Однако же если А отвечает "нет", то это правильно, и я не могу сделать вывод, поскольку способность говорить правду характерна и для левого, и для центриста.

Мой вопрос, следовательно, таков, что получает квалификацию через обратную связь, ретроактивно от произведенного им результата. Если "да", то он одерживает победу, если "нет", то он совершенно напрасен и вновь приводит к прежней ситуации.

Первый вопрос производил результат необходимой модификации в знании. В этом смысле он имел статус

гарантированного продолжения аналитического рассуждения. Дела обстоят иначе, если я иду на риск получения нулевого результата. Подвешивание того, что мы получаем в форме ответу является полным и растягивает время предвосхищения, прежде чем на него подействует обратная связь, между нулевым результатом и решением ситуации.

Этот тип вмешательства, получающий квалификацию лишь от своего результата и связанный с опасностью нулевого результата, я называю *вмешательством на пари*. Политика в духе Паскаля состоит в том, чтобы считать, что в любом случае лучше всего держать пари, если мы дошли до крайнего предела, допускаемого последовательностью анализа, и - как я уже писал - сдвигаемого различающим вмешательством.

Провал здесь будет заключаться не в "проигрыше", но в довольствовании лишь верификацией эквивокации, к которой привел анализ ситуации. Политическое поражение для меня состоит в неспособности вмешательства отделить политику от аналитики. Потерпеть политический крах - это не суметь прервать заданное состояние непреложной уверенности.

VII. Вмешательство и организация.

Политика. Будущее в прошедшем

В концепции политики, которой я придерживаюсь, в счет идут не силовые отношения, но практические мыслительные процессы. Заметим, до какой степени мертвые разновидности самых различных политик милитаризовали свои концепты: стратегия, тактика, мобилизация, задача дня, наступление и оборона, движение и позиции, завоевание, войска, штаб, альянсы... Модель войны является вездесущей. По крайней мере на уровне языка политики мы замечаем инверсию аксиомы Клаузевица. Похоже, что политика есть продолжение войны посредством тех же слов.

Несет ли Маркс ответственность за эту воинствующую фигуру и за ту борьбу не на жизнь, а на смерть, в которую он вверг исторические классы? Я бы, скорее, сказал, что Маркс узаконил преобладавшую с древности концепцию, которая, упорядочивая политику вокруг властных конфликтов, превращает насилие в ее концентрированное выражение.

Нововведение Маркса (о чем он сам пишет в письме к Вейдемайеру) заключается и не в понятии классов, и не в понятии классовой борьбы. Оно состоит в стратегической гипотезе коммунизма, т. е. в гипотезе упразднения политики, понимаемой как раз как фигура насилия, направленного на достижение господства. Двусмысленность идей Маркса - в том, что он сохранил антагонистический концепт политики, делегируя формы новаторского сознания тому, что - как он воображал - станет эсхатологическим концом самой политики. В этом смысле, очевидно, можно сказать, что Маркс, скорее, обозначил возможное содержание некоей иной политики, нежели порвал с общепринятыми формами любой возможной политики. Маркс как бы добавил к общей идее политики указание на возможность ее отмирания, которое, как он воображал, сможет осуществиться средствами самой политики в стародавнем ее понимании, как только они окажутся в руках у рабочего [класса как революционного] субъекта.

Сегодня надо заниматься, не пророчествами, но актуальными проблемами независимости политики от насилия государства, сохраняя отнесенность этой гипотезы к событиям рабочего и народного движений. Это верно, в частности, по отношению к Польше, где политика в любом случае воспринимается как концепция, преобразующаяся во времени, продолжительная же устойчивость рабочей политики определенно одерживает верх над ее наступательной способностью.

Нет ни малейшего сомнения, что политика на своем поле должна справляться с государством и войной, с принуждением и бунтом. А вот в чем сегодня нужно усомниться, так это в том, что политика козкстенсивна этому справливанию и что центральным ее концептом является концепт антагонизма.

Или, скорее, надо задаться вопросом: что такое радикальная политика, политика, в своем радикализме доходящая до корней, отвергающая управление необходимым, размышляющая над целями, поддерживающая и осуществляющая справедливость и равенство, но тем не менее признающая мирное время и не сбивающаяся на пустое ожидание катаклизма? Что такое радикализм, - радикализм как бесконечная задача? Ибо, как и для психоанализа у Фрейда, здесь важно постулировать, что политика, *революционная*, если вам угодно сохранить это прилагательное, в сущности, бесконечна. Тогда как стародавний антагонистический закон провозглашал, что время надо тратить на то, чтобы по возможности скорее покончить с политикой; закон же парламентской политики, вообще безразличный к целям, не видит дальше пассивного настоящего, т. е. видит лишь нечто поддающееся подсчету, распределяющееся между ближайшими выборами и ближайшей девальвацией.

В этой точке я постулирую, что *вмешательство на пари*, соотносящееся с событием, при гипотезе, что Другое скрывается под видом *Того же самого*, а Двоица была структурно просчитана за Единицу, - это вмешательство является атомом политики. Это вмешательство возможно, только если принять гипотезу гипотез, изначальную аксиому, которая утверждает, что мы можем придать политическое содержание событиям, в каких выражается то, что существует нечто гетерогенное, что политика не была упразднена экономикой, или что справедливость есть нечто внутренне присущее субъекту, и что мы можем уловить воздействие справедливости там, где прерывается государственная коммуникация; где социальная связь рассеивается в утверждающих сингулярностях.

Вмешательство на пари политизирует предполитическую ситуацию предлагаемой им интерпретацией этой ситуации, в которой конструируется событие. Это вмешательство выдвигает Двоицу против структуры Единицы. И происходит это с риском получить нулевой результат. Значит, это полная противоположность вмешательству ученому и программному. Оно высказывается не о том, что необходимо делать, но о том, о чем

следовало бы подумать. Это будущее в прошедшем и образует политику, так как эта мысль подтверждается или не подтверждается в обратной связи - как в том, что касается гипотезы вмешательства, так и в том, что относится к непосредственным участникам ситуации.

Мысль, образующая политику, есть то, что уклоняется от подсчета, так как ее высказывание поместит ее в верифицирующий ответ.

Время того, что называется "тоталитаризмом", - это прошлое; "легитимность" есть понятие легендарное или расовое. Парламентское время есть ничтожность распродаваемого по дешевке настоящего. Наконец, классическое революционное время есть время будущее.

Но вот реальное политическое время - это будущее в прошедшем.

Ибо это время подразумевает организацию в двойном измерении своего предшествования и своей будущности.

Обыкновенно организация мыслится в напряжении между своей *выразительной* функцией и функцией *инструментальной*. Выразительной, потому что считается, что она должна нечто представлять: в марксизме - классы, обладающие политической способностью; в либерализме - течения [общественного] мнения. Инструментальной - через посредство своей программы, с помощью которой она организует интересы и сознания. Речь идет о том, чтобы завладеть позициями власти, в силу чего проведение программы в жизнь сможет удовлетворить задаваемые условия.

Эта онтология организации, или современной партии, в которой диалектически соотносятся своего рода лейбницианская выразительность¹⁵ и программная теория политического сознания, на мой взгляд, является безусловно общей для всех политических течений, и обычный марксизм, старая марксистская традиция, не предлагает в этом вопросе никакого значимого разрыва. Диалектика сосредоточивается в точке, где программа, сочетание выразительности и инструментальности, объединенного сознания и государственной практики, в свою

очередь, оказывается подчиненной обобщенным реалиям, по которым уже невозможно прочесть, что должна выражать программа. Ведь государство - с точки зрения программы - должно быть как бы инструментом инструмента-партии. Однако оно неизбежно становится хозяином этой партии - оно, которое ничего не выражает, но лишь выделяет себя. Если исходить из выразительности, государственное выделение неосуществимо. Общие задачи государства пристегивают волну к императивам, чье требование сохранения связи - при необходимости, с помощью террора - неизбежно одерживает верх над принципом не-связанности, принципом, где коренится идея, которую в политике я хотел бы отнести и на собственный счет.

В господствующей концепции - либеральной или марксистской, но также и фашистской - политика на самом деле упразднена. Ни идея класса, ни идея свободных мнений не могут заменять политику. Дело в том, что комплекс государства и экономики занимает весь горизонт видимого. Реальная оценка современным партиям - независимо от того, много ли их, или она одна - дается именно государством. А государство - хотя оно, конечно же, и является существенным термом политического поля, само по себе аполитично. В этом и состоит тот глубокий смысл, который я придаю польскому опыту продвижения общества на более высокий уровень. На самом деле речь идет не о гегельянском противопоставлении государства гражданскому обществу. Речь идет об именовании места восстановления (*reconstitution*) политики, у которой есть шанс действовать только исходя из независимости по отношению к государству - не потому, что государство есть нечто враждебное или противоположное политике, но потому, что государство аполитично. Отсюда - рискованная и продолжительная конфигурация вмешательства в политику, характерная для заводских рабочих, единственная цель которой - пытаться в любой момент сохранять имманентную событийность политики.

В таком понимании организация - это нечто, создаваемое обязательно посредством решения; не поддерживаемое никакими структурными заданностями классового типа, как и ни-

какими пассивными заданностями типа мнения. Она является просто-напросто организацией политики, организацией будущего в прошедшем.

VIII. Что такое догматизм?

Предшествующее предполитическим ситуациям *вмешательство на пари* следует организовать по двум причинам. Прежде всего, поскольку здесь, как я уже писал, дело идет о прерывании коммуникации, чтобы невозможное произошло во всей его историчности. Для коллективной организации характерна, прежде всего, глухота по отношению к предписаниям установленных фактов. Одиночка не может заткнуть себе уши. Только организованный коллектив обладает заглушающей мощью. Вторая причина *вмешательства на пари*: оно рационально лишь в том случае, когда уже исчерпаны все возможности вмешательств различающих. И надо предпринять немало таковых, чтобы убедиться в совершенной необходимости риска.

Еще одна история, на сей раз последняя.

Допустим, сообразуясь с нашим дистрибутивом правый/левый, мы имеем дело с тремя людьми: А, В и С. А говорит: "В и С - из одной партии."

Предположим, я желаю знать, какая истина кроется в этом утверждении, и спрашиваю С: "Правда ли, что А и В из одной партии?" Это - допустимое вмешательство, только и всего. Но что мне ответит С?

а) Если А левый, то он говорит правду. Следовательно, В и С из одной партии.

Предположим, что В и С левые. Тогда А и В из одной, левой, партии. А поскольку С тоже левый, он скажет мне правду, т. е. "да".

Если же В и С правые, то А и В не из одной партии: А, согласно гипотезе, - левый, тогда В - правый. Но поскольку С

правый, он лжет, а следовательно, он будет утверждать, что А и В из одной партии. И опять-таки он ответит мне: "да".

б) Если теперь А правый, то он говорит ложь. Значит, В и С не из одной партии.

Предположим, что В левый, а С правый. Тогда А и В не из одной партии, но С лжет, следовательно, он отвечает мне: "да".

И, наконец, если В правый, а С левый, то А и В из одной партии. А поскольку С говорит правду, он отвечает мне: "да".

Во всех трех сочетаниях ответом С будет "да". Это равносильно тому, что мой вопрос не выясняет абсолютно ничего, и я не могу узнать из него чего бы то ни было относительно того, кем являются А, В и С. Ситуация остается не затронутой моим вмешательством. Возможно, эта ситуация и является предполитической, но я с ней не справляюсь.

Условимся называть этот тип вмешательства, когда мы ставим перед ситуацией вопрос, не производящий никакого результата и не помогающий ее квалификации, *нулевым вмешательством*.

Скажем, что такова формальная матрица догматизма. То, что говорит догматик, "сверхштатно" лишь внешне. Неразличимость получаемых им ответов устанавливает, что он лишь паразитирует на ситуации, которая задается структурным массивом "счета-за-единицу".

Догматик никогда не может осилить Двоицу. И следовательно, он сам является коррелятом структуры. Событие для него принципиально отсутствует.

Организация, концепт которой я установил, служит аппаратом для осуществления события, для риска, для пари. И ее коллективная различительная наука будет вовсе нелишней при защите от догматизма и для того, чтобы, по крайней мере, не ставить применительно к ситуации вопросов, чей нулевой итог просчитываем заранее.

На выходе из ситуации организация фактически является не инструментом, но продуктом. Она означает, что некогда имевшее место обязательно будет имевшим место всегда. Своей пропагандирующей верностью, своими ступенчатыми *вмеша-*

тельствами на пари организация оставляет открытой ту точку, где шву Единицы не удастся запечатать Двоицу. Организация является рефлектирующей материальностью некоего "имеется" в его *будущем в прошедшем*. Политическая организация требуется для того, чтобы *вмешательство на пари* превратило в процесс то, что переходит от прерывания к верности.

В этом смысле организация есть не что иное, как устойчивая связность политики.

IX. Отказ-от-возвышения

Остается лишь установить, что процесс этот, или эта процедура, неконструктивен. Тем самым я имею в виду, что его отношение к закону заключается не в том, чтобы подтверждать таковой, предъявляя образцовый случай. Так, Гальбот не служит примером ничего. Это некая сингулярная запись, из которой исходит политика, а не нечто конструирующее политику в целях доказательства ее легитимности.

Если мы сравним политическую процедуру с рассуждением или умозаключением, то увидим, что это умозаключение всегда производится от абсурда. Фактически событие - благодаря его способности к прерыванию - сводится к предположению о том, что *приемлемое* перестало иметь значение. Для политики, достойной этого имени, основным референтом служит *неприемлемое*. Политика извлекает из него последствия с помощью организованных вмешательств, и пока она не сталкивается с противоречием, т. е. с обязанностью возвращаться к выслушиванию общего шума, она продолжается.

На самом деле умозаключение от абсурда есть пари. Мы предполагаем, что из гипотезы, отвергающей некую пропозицию, будут вытекать неприемлемые следствия, которые вынудят принять эту пропозицию. И все-таки мы не знаем, *когда* столкнемся с этим противоречием. Отсюда - опасность бесконечной дедукции.

Пари в политике противоположно только что описанному. Неприемлемое здесь - не то, чего ожидают, но то, из чего исходят. Политическое пари предполагает, что из прерывания, из *неприемлемого* будет дедуцирована организация - согласно ' череде последовательно актуализуемых пари - и тем самым в *будущем в прошедшем* развернется радикализм, которому никогда не преградит путь скала закона.

Конструктивные умозаключения никогда не сталкиваются с законом. Они только и делают, что предъявляют случаи, соответствующие закону, каковой остается имманентным. Неконструктивное же умозаключение, или умозаключение *от абсурда*, представляет собой столкновение, столкновение с противоречием. И тогда следует отступать: либо к изначальной гипотезе, либо к непротиворечивости, т. е. к самому закону. Если столкновение с противоречием всегда отсрочивается, то неконструктивное рассуждение дедуктивно движется в "подвешенном" существовании.

Это столкновение с прерыванием закона политика вводит - в форме события - в самый принцип своей процедуры. Последовательные вмешательства производятся при выдвинутой *на пари* гипотезе о неизменной верности событию. Речь идет о том, чтобы организовать то, что из реального события - а значит, события, с точки зрения закона, абсурдного - может произойти бесконечное. Неконструктивное тем самым является естественным элементом политического процесса.

Малларме превосходно подводит всему этому итог в "Игитуре": "Случай (Le Hasard) содержит Абсурд - имеет его в виду, но в скрытом состоянии, и препятствует его существованию: вот что позволяет Бесконечному быть."

Истолкуем: событие, политизированное посредством вмешательства, каковое всегда является броском игральные кости, полагает Абсурд, неприемлемое, в сокренности его процедуры. И тем самым Бесконечное политической задачи делается возможным.

Заметьте, что этому соответствует диалектика существования и бытия. Политическое бесконечное *есть* благодаря тому, что процедура вмешательства выносит абсурдность события за

пределы существования, - если только сама процедура, т. е. организация, не сокрыта.

Политика - с точки зрения срыва в "счете-за-единицу" - всегда является бесконечным предположением бытия посредством полагания длительной сокрытости существования Двоицы.

Таким образом, антагонизм является принципом не натиска, но того, что политическое бытие сохраняет в бесконечности пари, тем самым получая возможность подвести существование под более высокую категорию.

То, что это бесконечное является событийной устойчивостью, распространяемой через риск вмешательства, делает представление этого бесконечного невозможным. Неприемлемая в самом истоке, политика не может быть представлена и в своей процедуре. Таким образом, она является одновременно и радикальной, и бесконечной. Поскольку же у политики нет ни точки остановки, ни символа бесконечности, политика должна отказаться от возвышенного. Несомненно, именно так - в субъективных терминах - она глубочайшим образом отходит от революционной репрезентации. Как мы видим у Канта, отмеченность возвышенным присутствует у революционной истории с самых ее истоков. Но будем внимательными к тому, что, возможно, является наиболее глубокой характеристикой польского движения - а именно к постоянной внутренней борьбе против возвышенного в действии.

Глубже и радикальнее возвышенного - отказ-от-возвышения (de-sublimation), так как событие не является - и не должно являться - той всепроницающей полнотой бури или звезд, в которой дает себя обозреть бесконечное. Событие - это, скорее, неприемлемая пустотная точка, где ничего не представляется, но откуда посредством абсурда проистекает то, что в серии связанных вмешательств осуществляется Бесконечное.

Нам остается поэтическое предписание, само по себе возвышенное и увещающее нас отказаться от возвышенного. Политическое бесконечное должно дистанцироваться, отделиться от всякого представительства. Такова директива Малларме, на которой я и заканчиваю: "Да отделятся от Бесконечного и созвездия, и море!"

КРАТКИЙ ТРАКТАТ ПО МЕТАПОЛИТИКЕ

<i>Пролог.</i> Философы-участники Сопrotивления	... 95
1. Против "политической философии"	...103
2. Политика как мысль: труды Сильвена Лазарюса	...117
3. Альтюссер: субъективное без субъекта	...144
4. Расщепление политической связи	...152
5. В высшей степени умозрительные рассуждения о концепте демократии	... 162
6. Истины и справедливость	179
7. Рансьер и сообщество равных	J89
8. Рансьер и аполитичное	19 5
9. Что такое термидорианец?	204
10. Политика как истинностная процедура	... 218